

Сергей Плеханов

# ОХОТА ЗА СЛОВОМ

Москва  
«Вече»

УДК 94(47)  
ББК 83.3(2)  
П38

**Плеханов, С.Н.**

П38 Охота за словом / Сергей Плеханов. — М.: Вече, 2011. — 288 с.

ISBN 978-5-9533-5887-3

Книга о Сергее Васильевиче Максимове посвящена «хождению в народ» этого замечательного исследователя и описателя русского быта в конце XIX века. Очерки С. Максимова, лишённые всяких идеологических установок, любых предвзятых суждений, стали открытием для его современников. Салтыков-Щедрин считал, что книги Максимова должны стать «настоящими» для всех писателей и для всех «исследователей русской народности». Сегодня они возвращаются к читателю вместе с вдумчивым и увлекательным описанием жизни самого автора.

**УДК 94(47)**  
**ББК 83.3(2)**

ISBN 978-5-9533-5887-3

© Плеханов С.Н., 2011  
© ООО «Издательский дом «Вече», 2011

## «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Б**уквально за несколько месяцев до смерти С.В. Максимова (1831—1901) один из его биографов писал: «Это удивительно скромный человек и далеко не оцененный по достоинству на своей родине, где имя его очень популярно, но не гремит, как гремело бы за границей, если бы Сергей Васильевич Максимов, только очень недавно избранный в почётные академики Императорской академии наук, был писателем иностранным...»

Чем обогатил классическую русскую литературу С.В. Максимов? Какие события отечественной истории оказали решающее влияние на его самобытный талант?

В преддверии великих реформ 1860-х годов Россия сосредоточивалась, обдумывала себя, свой тысячелетний исторический путь, чтобы, опираясь на опыт прошлого и укрепляясь в нём, идти вперёд по пути глубоких и благотворных преобразований. «Не далее как десять лет назад книжки журналов безнаказанно наполнялись переводными статьями и компиляциями, в которых русского были только слова, — писал в 1856 году М.Е. Салтыков-Щедрин, — в настоящее время можно утвердительно сказать, что существование журнала, составленного таким

образом, было бы весьма печально. <...> Всякий, кого сколько-нибудь коснулся труд современности, кто не праздно живёт на свете, волею или неволею, естественным ходом вещей, должен убедиться, что если мы желаем быть сильными и оригинальными, то должны эту силу и оригинальность почерпать в той стране, на которую доселе, к сожалению, мы смотрели равнодушными и поверхностными глазами заезжего туриста».

Необходимость такого внутреннего сосредоточения перед решительным рывком вперёд, к счастью для России, прекрасно сознавало тогдашнее правительство, обратившее особое внимание на литераторов, призвавшее их к трудоёмкому делу самопознания, организовавшее «литературную экспедицию» для изучения быта и нравов русского народа. В русской общественной мысли и литературе этого времени в считанные месяцы совершился знаменательный поворот.

«Направление, принятое русской литературой последних годов, заслуживает в высшей степени внимания, — замечал Салтыков-Щедрин. — Русский человек с его прошедшим и настоящим, с его экономическими и этнографическими условиями, сделался исключительным предметом изучения со стороны литераторов и учёных... Делается очевидным для всякого, что потребность познать самих себя, со всеми нашими недостатками и добродетелями, вошла уже в общее сознание: иначе нельзя объяснить ту жадность, с которою стремится публика прочитать всякое даже посредственное сочинение, в котором речь идёт о России».

Русская литература в лице своих гениев, творцов классического романа, создавала обобщённый образ России. Но такая обобщённость требовала отвлечения от живого многообразия и пестроты народного мира, от индивидуальной неповторимости каждого уголка, каждой

деревушки на бескрайних русских просторах. А ведь ещё в начале 1840-х годов В.Г. Белинский с удивлением и восхищением писал: «Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, Остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь, — всё это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему! Мало этого: сколькими оттенками пестреет сама Великороссия не только в климатическом, но и в общественном отношении! Северная полоса России резко отличается от средней, а средняя — от южной. Переезд из Архангельска в Астрахань, с Кавказа в Уральскую область, из Финляндии в Крым, — всё равно что переезды из одного мира в другой. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса — какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!»

У Белинского, замороженного богатствами российских географических и духовных просторов, не уставала рука от таких перечислений-призывов, адресованных «наблюдательному уму» русских писателей-демократов. Призывы не остались без отклика. Слова Белинского стали для писателей максимовского склада делом всей жизни. Максимов исходил вдоль и поперёк всю Русь, по-своему восполняя пробел, волей-неволей возникавший в русской литературе, устремлённой в своём магистральном русле к созданию крупных художественных форм. Творчество Максимова отвечало другим, не менее насущным потребностям времени. В эпоху торжества классического романа, в период исключительного расцвета литературы как особой формы общественного сознания, нужны были люди, которые собирали на глазах у общества пёструю мозаику народной жизни, ничего в ней не усекая и с

предельной осторожностью используя специфические возможности литературы. Воображение, игра творческой фантазии — великая сила, но пусть ещё останется жизнь и такую, какую она существует до нашей мысли о ней, до литературной её обработки. Верность жизненному факту стояла на первом плане в творческой работе Максимова и по-своему отвечала насущным потребностям времени.

Современники увидели в очерках Максимова «желание понять народный быт как он есть», с создавшими его условиями, «понять равноправно и человечно», «с особым ударением на его мудрости и мудрёности народного быта, который нелегко уразуметь ненародному человеку». Их привлекало хождение Максимова в народ не для того, чтобы учить его, а для того, чтобы у него учиться, «чтобы вынести из моря народной жизни знания, без которых наша забота об этом народе всегда есть и будет делом мертворождённым».

Дело в том, что народ на протяжении всего XIX века был объектом идеологических концепций от консервативных до либеральных и революционно-демократических. Но живая жизнь, как известно, не терпит резких и крупных разграничений, сопротивляется им. Появляется запрос на иного писателя, входящего в народный мир изнутри, минуя всякие идеологические установки, любые предвзятые суждения о сути народного бытия, о его первооснове. Максимов в своём творчестве как раз и приближался к такому типу писателя. Именно потому Салтыков-Щедрин считал, что книги Максимова должны стать «настольными» для всех писателей и для всех «исследователей русской народности».

Так оно и случилось: Максимов дал богатые материалы для творчества своему ближайшему другу А.Н. Островскому, а также М.Е. Салтыкову-Щедрину, Н.А. Некрасову, Л.Н. Толстому. В то же время книги Максимова сохраняют

собственную познавательную и эстетическую ценность. Без них наше представление о России, о её прошлом, о народе и его культуре остаётся в значительной степени обеднённым. В.В. Розанов писал: «Моё дело быть с Передольским, Титовым, Максимовым («Куль хлеба»); вот люди, вот русские». Непревзойдённым «знатоком русской коренной жизни, её духа, её форм, её юмора» считал Максимова А.П. Чехов.

Но, к сожалению, и до сих пор творчество С.В. Максимова находится в неоправданном забвении. Книга С.Н. Плеханова, издаваемая к 180-летию со дня рождения писателя, призвана эту несправедливость исправить.

*Ю.В. Лебедев*

## ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ?

**Д**ушным августовским днем 1855 года по узкой темной лестнице, ведущей в мансарду доходного дома на Васильевском острове, поднимались двое молодых людей в сопровождении мальчишки-посыльного. Первым шагал коренастый бородач в сюртуке песочного цвета, в клетчатых брюках и мягкой циммермановской шляпе в тон коричнево-му галстуху, топорищившемуся над крахмальной манишкой. Второй — тоже невысокого роста, с чисто выбритым лицом, постриженный в простонародной манере «под горшок», но одетый по последней парижской картинке. В руках он держал клетчатый портсак и такое же кепи. Посыльный в разбитых сапогах, плисовых штанах и выцветшей красной рубашке тащил в руках целую охапку свертков и коробок.

Молодые люди остановились перед массивной низкой дверью, к которой была приколата визитная карточка «Сергей Васильевич Максимов, студент медицины». Бородатый требовательно постучал.

— Тишина... Но не мог же он уйти — я запиской извещал, что приеду.

И он забарабанил по дубовым доскам двери.

Узкая комнатушка, похожая на пенал, наполнилась грохотом. Но обитатель ее крепко спал, уронив голову на стол, разбросав перед собой сильные руки. Обнаженный



торс его лоснился, капельки пота выступили на лбу. Жидкая демократическая бородка рассыпалась по карте Российской империи, расстеленной на столе. Очки в тонкой оправе сползли с носа на лоб, одна дужка выскочила из-за уха и торчала над изрезанной прожилками рек территорией Новороссии подобно вопросительному знаку.

В дверь заколотили с удвоенной яростью.

— Сергие! Отверзи страждущим! — проревел прото-  
дьяконский бас.

Молодой человек рывком поднял голову, вскочил с колченогого табурета и, заправив дужку очков за ухо, бросился открывать.

— Ба-а, да вы, господин Максимов, в неглиже обрета-  
етесь, — с усмешкой сказал бородатый.

— Жарища! Не верится, что сентябрь на носу... —  
оправдывался Максимов. — Вы располагайтесь, а я жи-  
венько...

И, смущенно кивнув стриженному «под горшок» мо-  
лодому человеку, скрылся за ширмой.

Бородач по-хозяйски осмотрел мансарду и, указав по-  
сылному на стол, распорядился:

— Сюда.

Но едва мальчишка принялся раскладывать принесенные покупки, он остановил его жестом и осторожно вытянул из-под свертков карту, затем бережно положил ее на узкий топчан, застеленный лоскутным одеялом. Повернувшись к ширме, из-за которой слышался плеск воды, зычно спросил:

— Сережа, да ведь ты только что из какой-то Тьмутар-  
кани вернулся. Неужто опять куда-то засобирался?

— Всею свой черед, Базиль. И об этом скажу...

Над пестрой тканью ширмы на мгновение показалось  
мокрое лицо Максимова. Он был без очков и сильно  
щурился.

Пока хозяин комнатухи занимался туалетом, боро­датый господин, которого назвали Базилем, расплатился с посыльным, потом раскрыл портсак своего спутника и стал выкладывать из него новые свертки.

Когда Максимов вышел из-за ширмы в свежей сорочке с пестрым бантом, трудно было поверить, что еще минуту назад он спал богатырским сном.

— Нижайше прошу простить меня, — начал он, обраща­ясь к молодому человеку с простонародной стрижкой.

— Я не успел представить, — вмешался Базиль. — Это, Сережа, Иван Федорович Горбунов — надеюсь, ты на­слышан о его актерских триумфах...

— О, конечно, конечно... — подтвердил хозяин мансар­ды, протягивая для пожатия жилистую руку. — Душевно рад...

— Кстати, Иван, Сергей Васильевич — наш с тобой одноклассник. Это я к нашему давешнему разговору о том, что выдающиеся умы рождаются кучно... Год проходит, другой, десять лет — все идет народ средней руки, ни рыба ни мясо. И вдруг, как горох, посыпались гении: художники, поэты, ваятели. А потом опять — чичиковы какие-то. Тут, надо думать, не обходится без астрального влияния — положение планет какое-то или комета...

— Ну-ну, занесся, — добродушно улыбнулся Макси­мов. — Нам всего-то по двадцать три года. Еще доказать надо, что мы — то есть поколение наше — чего-то стоим. Пока-то похвалиться нечем — ни книг не написали, ни даже палат каменных не построили...

— Да уж, насчет палат не стану спорить. — Базиль скеп­тически осмотрел комнату-пенал, ее обшарпанную мебели­ровку и, неожиданно вскинув руку, продекламировал:

Забился на чердак  
Меж небом и землею;

Свистит себе в кулак  
Да ежится зимою.  
Его не огорчит,  
Что дождь сквозь крышу льется;  
Намокнет весь, трясется...  
«Да ну их!..» — говорит,  
«Да ну их!..» — говорит,  
«Вот, говорит, потеха!  
Ей-ей, умру...  
Ей-ей, умру...  
Ей-ей, умру от смеха!»

— Что это? — в один голос спросили Максимов и Горбунов.

— Нравится? — торжествующе отвечивал бородач. — Это из Беранжера, только что переложил.

— Дам голову на отсечение, что это звучит лучше, чем подлинник! — горячо воскликнул Горбунов.

— Ну не надо, Иван, — мягко возразил Базиль. — Пособи нам Бог до образца подняться...

Он порывисто повернулся к Максиму.

— Ну что, как ты? Выкладывай все, как на духу.

— Дайте с мыслями собраться, господа, — заговорил Максимов и молитвенно сложил ладони. — Сморило меня в пекле этом. Ночью-то, пока прохлада, работаю — для Старчевского очерки Владимирской губернии пишу.

— Э-эх, сечь нас некому! Ну зачем мы с этой «Библиотекой для чтения» связались?! — поморщился Базиль. — Только дремучая провинция — Митрофань да Коробочки — ее выписывают.

— Что касается Адальберта Викентьевича, я ему по гроб жизни обязан — он меня и на путь литературный вывел, и деньгами помог, когда я путешествие за офенским языком затеял, — с горячностью заговорил Максимов.

— Можно подумать, Курочкин личные счета с твоим благодетелем сводит. Да я сам Старчевскому много благодарен — в трудную минуту и работу подбрасывал, и переводы мои печатал. — Бородач скосил глаза на Горбунова и мрачно добавил: — А Иван уж заскучал, поди. Он ведь из Москвы — питерских наших дрязг и партий не разумеет...

— Нет-нет, что вы, мне как раз крайне интересно вас слушать — надо в петербургское общество вращаться. Я ведь в Александринку не на сезон перебрался, думаю корни здесь пустить...

— Благая вещь, раб божий, — сказал Курочкин и, надув щеки, благословил Горбунова.

Все трое рассмеялись.

— Так кто же такой этот ваш Старчевский? — спросил актер. — Вы столько о нем говорите...

— Как тебе растолковать, Иван, — на мгновение задумался Курочкин. — Московская журналистика таких фигур не знает. Кто там у вас — Погодин со своим «Москвитянином»? Это человек идеи, он свое детище видит как орган выражения известных взглядов. У нас же в последнее время народилось несколько дельцов, которые журнал в доходное дело превратили. Предадут тиснению что хочешь, каких угодно тенденций роман — лишь бы выгодно было, лишь бы подписчиков привлечь. Краевский, Сенковский... Адальберт тоже из их числа — «Библиотекой» стал руководить де-факто... Но и доброе дело задумал — Энциклопедический словарь издать. Вот Сергей для него несколько статей написал...

— Да, по первости он мне о Дале заказал, потом еще кое-что, а потом и очерк «Крестьянские посиделки в Костромской губернии» для «Библиотеки» взял, — подтвердил Максимов.

— Не в том беда, что «торговая литература» существует, — раздумчиво продолжал Курочкин, накручивая на

палец ус. — Бог бы с ней. Но то печалит, что мы, люди известного принципа, вынуждены от таких отстойников мысли, как «Библиотека», пропитываться.

Наступила долгая пауза, во время которой Курочкин тягостно вздыхал — по всему было видно, что он разбередил старую болячку. Наконец, обреченно махнув рукой, сказал:

— Разбери-ка лучше покупки, Сережа, да вели кухарке самовар поставить.

Максимов ободряюще хлопнул его по плечу и принялся разворачивать кульки и свертки.

— Та-ак, кофий... миноги... сметки... чухонское масло... изюм...

— Обычная пища литературных пролетариев, — посмеиваясь, объяснял Курочкин Горбунову. — У вас на Москве, я чай, поизрядней пишушая братия продовольствуется?..

— В чем, в чем, а в этом Первопрестольная нашей немецкой столице сто очков вперед даст, — сказал Максимов, заговорщически подмигнув Горбунову. — Я ведь два года в Москве прожил, в университете учился. Трактир «Железный», что в Охотном Ряду, до сих пор перед глазами стоит. А селянку тамошнюю по сю пору на языке чувствую.

— В Печкинской кофейне приходилось бывать? — спросил актер.

— Как же-с! Прибежище богемы достопамятное... — Максимов элегически сощурился. — Я и сам, грешным делом, к этой публике себя причислял — начал-то я с того, что по заказу горе-издателей с Никольского рынка переводы французских романов кропал. Три рубля за рукопись платили, каналы...

— Когда же вы столько успели? — почтительно глядя на Максимова, спросил Горбунов. — И медицине учились, и по Руси странствовали, и картины народной жизни описывали?..

Четверть часа спустя все трое сидели за столом и с аппетитом жевали. Горбунов, намазывая булку маслом, с одобрением говорил:

— А вот по части молочных снедей Москве за вами не угнаться...

— Подгородные чухонцы с млекопитательной тварью обращаться зело навыкли, — подняв палец, возгласил Курочкин, подражая священнической манере. И тут же, бросив взгляд на карту, лежавшую на топчане, добавил деловым тоном: — А теперь признавайтесь, господин Максимов, куда путь-дорога вам вышла?..

— А ведь ты прав, Базиль, я и впрямь гаданием по карте — только географической — занимался. Но пока не выбрал еще ничего в удел себе. А о причине моей ворожбы...

Не dokonчив фразы, Максимов достал из-за ворота салфетку, вытер ею губы и, скомкав, положил на стол.

— Дело вот в чем. На днях Иван Иванович Панаев, издатель «Современника», получил письмо от князя Оболенского, управляющего делами Морского министерства. В этом послании говорится, что великий князь Константин Николаевич подал мысль о командировании даровитых литераторов на главные моря и реки России для исследования быта тамошних жителей и написания статей в «Морской сборник».

Курочкин тоже отложил салфетку и сделал движение губами, но Максимов говорил с увлечением, и Базиль не решился прервать приятеля.

— К Панаеву Оболенский обратился с тем, чтобы тот порекомендовал морякам достойных кандидатов. Узнал же я об этом от Михайлова — он как раз был в «Современнике» и прознал о затее августейшего министра...

— Подожди, но зачем «Морскому сборнику» — изданию сугубо казенному — заполнять свои страницы сочинениями беллетристов? — спросил Курочкин.

— Тайна сия велика есть, — развел руками Максимов. Горбунов мягко улыбнулся и заговорил:

— А ведь я, господа, об этой затее кое-что знаю... Месяца полтора назад привелось мне вместе с Алексеем Феофилактовичем Писемским на флагмане императорского флота «Рюрик» побывать, в гостях у самого генерал-адмирала, то бишь великого князя Константина Николаевича...

— Ого, высоко летаете, — хмыкнул Курочкин.

— Время такое, Василий Степанович, — добродушно отозвался Горбунов. — Алексей Феофилактович так трактует: при покойном Николае Павловиче литература и сочинители не в чести были, а нынешние власть прираввшие особы опоры в обществе ищут, посему к литераторам мирволят. Мы ведь с Писемским все лето напролет по салонам скитались — он свою «Плотничью артель» читал, я из Островского кое-что да свои сценки из народного быта... Алексей Феофилактович уж ворчать стал: «Нам-де, Ванюша, надо просить архиерея, чтобы стихари нам сшили, — точно дыячки с чтением псалтири меж двор слоняемся».

— Ну, тут дело не только в особой симпатии к литераторам, — возразил Курочкин. — Наше общество по развлечениям соскучилось. С самого восемнадцатого февраля, как император к праотцам отошел, траур. Театры закрыты, любые зрелища запрещены... И на дачи не разъезжались все лето — Ораниенбаум, Сестрорецк, все взморье под угрозой неприятельского десанта. Флот-то англо-французский — рядом, в десятке миль от Кронштадта. Вот вам объяснение пылкой любви к литературным чтениям...

— Но как бы то ни было... — тактично прервал Максимов.

— Да-да, прошу прощения, — сказал Курочкин. — Продолжи, Ванюша, свой рассказ.

— На «Рюрик», кстати, тоже читали «Плотничью артель». Успех был феноменальный — да вы ведь слыша-

ны, верно, о том, как Алексей Феофилактович исполняет свои произведения. Это Щепкин!

Горбунов говорил с неподдельным одушевлением, и Курочкин, сложивший было губы в иронической усмешке, не стал оспаривать истинность уподобления Писемского великому артисту. Он только спросил с полной невозмутимостью:

— Так именно на «Рюрике» и родилась идея рекрутировать литературную братию?..

— Я бы не стал этого утверждать. Однако именно после посещения фрегата Алексей Феофилактович получил письмо за подписью того самого князя Оболенского. Недели две назад это было...

Когда Горбунов по обыкновению зашел к Писемскому, чтобы пригласить его обедать, он застал писателя у карты Российской империи. Голова Алексея Феофилактовича была всклокочена, халат раскрылся, обнажив волосатую грудь.

— Разрешите узнать причину этого неожиданного интереса к географии.

— Читай... — И Писемский протянул Горбунову пакет с красными сургучными печатями. — Управляющий делами Морского министерства извещает: его императорское высочество великий князь Константин Николаевич подал мысль о командировании лучших русских литераторов для изучения быта и промыслов рыболовецкого населения прибрежий морей, омывающих пределы империи, а равно для исследования с тою же целью главных рек России. Испрашивают моего согласия на такую командировку.

Писемский склонил набок кудлатую голову и, испытующе поглядев на Горбунова, спросил:

— Ты понимаешь, насколько это заманчиво?

Добрых полчаса Алексей Феофилактович рисовал перед гостем картины своих будущих странствий, одну другой



внушительнее. Тут же был составлен ответ Оболенскому, в котором Писемский извещал о своем согласии отправиться в путешествие. За обедом в трактире Алексей Феофилактович открыл и более прозаическую подкладку своего столь поспешного согласия — благодаря командировке он хотя бы на некоторое время освобождался от хлопот о заработке, от необходимости перехватить сотню-другую до начала публикации нового романа, «Тысяча душ».

— Так кому же первому пришла в голову мысль об организации этой литературной экспедиции? — задумчиво говорил Курочкин, ни к кому не обращаясь. — Не иначе, это идея Головнина.

— А кто сей господин, простите за невежество? — любопытно спросил Максимов.

— Одна из самых влиятельных персон в нынешней администрации. Далеко пойдет... — Курочкин сощурился, как бы провидя дальнейшую карьеру Головнина. — Нынче он секретарь Константина Николаевича, а завтра, глядишь, и сам в министры выйдет.

— Почему же ты именно с ним связываешь идею литературной экспедиции? — поинтересовался Горбунов.

— В самом деле, неужто его императорское высочество сам не в состоянии высказывать какие-то дельные предложения? — поддержал Максимов.

— Почему же нет? Великий князь — один из главных сторонников заимствования западных форм организации во всех областях жизни. Естественно, что он соответствующим образом влияет на атмосферу в подчиненном ему ведомстве. А Головнин — правая рука Константина Николаевича. Человек он способный, умеет использовать положение своего патрона. Теперь он фактически руководит изданием официального органа министерства. Понятно, почему «Морской сборник» на глазах становится

одной из главных трибун либеральных реформаторов, уже сейчас он приобрел политический характер — на его страницах печатаются статьи, не имеющие никакого отношения ни к морю, ни к проблемам флота. Это-то и дает основание предположить, что идея привлечь писателей к сотрудничеству в журнале принадлежит, скорее всего, именно Головнину — понимая значение литературы в общественной жизни и желая привлечь к либеральному журналу внимание широкой публики, он мог подать великому князю мысль пригласить в «Морской сборник» самых известных литераторов. Конечно, вряд ли на страницах казенного издания станут печатать беллетристические сочинения. Но само появление среди авторов ведомственного органа знаменитых писателей, пользующихся расположением читателей?.. Это отвечало бы целям Головнина и его единомышленников — внедрять в русское общество мысль о необходимости ломки старых порядков и переустройства России на европейских началах. А задуманная долговременная командировка литераторов при условии их широкого сотрудничества на страницах «Морского сборника» как раз и может сделать узковедомственному изданию необходимую рекламу.

Закончив, Курочкин победоносно оглядел сотрапезников, как бы предлагая им оценить его проницательность.

— Да, тут у вас не заскучаешь, — только и сказал Горбунов, почесав затылок. — Чтобы разобраться в хитросплетениях здешней политики, не один пуд соли съесть придется.

— Знаете что, — предложил Максимов. — Давайте поедем сей же час к Майкову, у него как раз по четвергам все наши собираются. Там и Михайлов будет, и Писемский — у них доподлинно обо всем и выпросим...

— Условия командировки предложены весьма соблазнительные — срок ее для каждого участника определен в

один год, причем ежемесячное содержание составит сто рублей.

Произнеся эту фразу, невысокий узкогрудый молодой человек в очках остановился у широкого венецианского окна и внимательно посмотрел в сторону Юсупова сада, находившегося напротив, через улицу. Высоко поднятые брови придавали лицу говорившего какое-то странное выражение: одновременно удивленное и насмешливое.

— Ба, да к нам, кажется, еще подкрепление следует — Дружинин с Боткиным... Но, прошу прощения, я прервался... Так вот, к сказанному надо прибавить, что, помимо ежемесячного содержания, участникам литературной экспедиции будут причитаться гонорары за предполагаемые публикации в «Морском сборнике». Кто, скажите мне, положила руку на сердце, кто из литераторов не соблазнится повидать за казенный счет дальние края России, обновить запас впечатлений, собрать материал для будущих сочинений? Нет таких болванов, скажете вы... — Из-за очков на присутствующих лукаво смотрели карие глаза, а поднятые брови говорили, казалось, что молодой человек готовит какой-то веселый розыгрыш.

— И все же противу всяких ожиданий, противу доводов здравого смысла, результаты пока плачевны. Наш почтеннейший хозяин Аполлон Николаевич, например, не может отправиться в путешествие из-за того, что министр просвещения Авраам Сергеевич Норов не соглашается отпустить его на столь продолжительный срок — у него-де цензоры Комитета иностранной цензуры весьма работой загружены, и хотя бы одного из них лишиться министерство никак не может. Яков Петрович Полонский просто отказался без объяснения причин.

С оттоманки резко поднялся сублильный господин и, льдисто посверкивая очками, комкая длинными артистическими пальцами жидкую бородку, нервно заговорил:

— Михайло Ларионыч, я прошу не подчеркивать впредь мое служебное амплуа. Я не цензор, но прежде всего поэт!

— Да ты, Мишель, тово, — покрутив в воздухе сложенными в шепот пальцами, сказал начинающий полнеть брюнет с буйной шевелюрой, — Понимаешь, не цензор он... Я не потому за него вступаюсь, что он мне шурин двоюродный, нет, Майков — поэт божьей милостью, а кто чем на кусок хлеба зарабатывает...

— Алексей Феофилактович, да я не намекал ни на что, — наконец нашелся молодой человек, несколько ошеломленный нападением Майкова. — Так, сказал для тех, кто не совсем разумеет, кто есть кто.

И он кивнул в сторону группы гостей, среди которых сидели Курочкин, Максимов и Горбунов.

— А, ну тогда это ты, Аполлон, тово... — Алексей Феофилактович досадливо пощелкал пальцами. — Как порох, понимаешь. Дым, шум, огонь... Сядь, пожалуйста, дай Михайлову договорить.

Послышались голоса в прихожей, и через минуту в гостиную вошли двое прекрасно одетых мужчин, чем-то неуловимо похожих друг на друга, хотя один был круглолиц и опушился русой бородкой, а другой самой своей продолговатой физиономией и ухоженными дворянскими усами как бы являл живое отрицание демократических веяний в моде.

— А вот и наши многоуважаемые англومانь, только один московский, а другой здешний. — Майков, уже позабывший о короткой размолвке с Михайловым, безмятежно улыбался, указывая на новых посетителей узкой дланью. — Прошу любить и жаловать, это — для тех, кто не знаком еще с ними, — Александр Васильевич Дружинин, наш петербургский Зоил, и Василий Петрович Боткин, тонкий эстетик и гурман, прекрасно чувствующий литературу, музыку и прочая, и прочая...

Боткин замер на месте, смущенно постреливая в присутствующих своими карими восточными глазами, нервно теребя бороду, а Дружинин невозмутимо раскланялся на три стороны и, откинув фалды смокинга, опустил в кресло. Затем обратился к Майкову:

— Кажется, наш приход прервал оживленную беседу...

— Господин Михайлов рассказывал о необычном предприятии Морского министерства...

— А, эта пресловутая литературная экспедиция! Что там новенького? Кто еще вызвался ехать?

— Пока темна вода во облацех, — ответил Михайлов. — Только мы с Алексеем Феофилактовичем наверное согласились. А насчет других кандидатов...

— Погодин рекомендовал Островского пригласить, — вмешался Писемский. — Думаю, Александр Николаевич соблазнится возможностью проехаться по Волге — он давно мне о таком желании говорил.

— Так, трое, — сказал Дружинин, как-то сразу взяв в руки нить разговора, — А ведь требовалось, если мне не изменяет память, человек десять.

— Хотел еще Лев Мей поехать, — задумчиво произнес Михайлов. — Да не знаю, говорят, хворает... Собирался поехать Афанасьев — тот, что под псевдонимом Чужбинский в «Современнике» печатается... Если, говорил, на Днепр пошлют, я согласен — одной казенной подорожной готов свои требования ограничить... Поместье там у него...

— Ты про Алексея Потехина забыл, — заметил Писемский. — Он, весьма вероятно, тоже примет участие. Мы уж тут с ним делили Волгу: тебе-де, Антипыч, Середняя, Островскому — Верхняя, а мне, многогрешному, — Нижняя. Моряки ведь туда целых три командировки грозятся дать...

— Вот теперь что-то определенное выясняется, — вновь заговорил Дружинин. — А то я только и слышу: провал, фиаско, никто не едет.

— Просился еще Данилевский, начинающий литератор, он в Министерстве народного просвещения служит, да его никто не знает как следует, — вставил Майков и, неуверенно потерев бородку, заключил: — Так что вряд ли это серьезная кандидатура.

— А вы-то куда стопы направляете, любезный Михайло Ларионыч? — поинтересовался Дружинин.

— На реку Урал, там родина моя, все исхожено, изъезжено...

— Так уже половина вакансий занята! — развел руками Дружинин. — Остается Белое море с впадающими в него реками да Азовское с Доном...

— Для Севера я рекомендовал Ивану Ивановичу Панаеву присутствующего здесь господина Максимова. Сергей Васильевич, покажись, каков ты есть, я давно хотел тебя с Александром Васильевичем познакомиться.

Максимов поднялся с места, заметно смутившись, и направился к Дружинину. Характерная для рослых людей сутулость и бородака придавали ему сходство с монастырским послушником, и Боткин не удержался от вопроса:

— Скажите, милейший Сергей Васильевич, вы не из духовного сословия?

— Нет-с, из дворян. — Максимов на мгновение остановился и растерянно посмотрел в насмешливые глаза Василия Петровича. — В родословную книгу Костромской губернии внесены...

— Я потому спросил, что много нынче пишущего народа из духовных, — вывернулся Боткин и с добродушной улыбкой воздел руки к потолку. — Оттирают литературных господ, да и только.

— И поделом нам, — заметил Писемский. — Мы ведь все в эпикурейцы норовим, а разночинец, тот до всякой работы, ох, как лют...

— Вам-то уж, Алексей Феофилактович, грех жаловаться, — укоризненно сказал Боткин. — К тридцати пяти годам вы столько написали...

— Да я не про себя, — хитро сощурился Писемский. — Я про вас...

— Господа, перестаньте пикироваться, — поспешно заговорил Дружинин, поднимаясь с кресла. Шагнул к Максиму и, сердечно пожав ему руку, спросил: — Вы, я слышал, только что из какого-то увлекательного вояжа вернулись. Расскажите, это так занимательно...

— Да-да, просим... Сделай одолжение, Сергей... — раздалось из разных концов гостиной.

— Я... я... еще как-то не переварил увиденного, — неуверенно начал Максимов, обводя глазами собравшихся. — Вот пишу сейчас для «Библиотеки», а они... все эти люди, мной увиденные, офени, вотяки, бурлаки... так и толпятся перед глазами... боюсь, слишком сумбурно будет...

— Да ты о главном расскажи — почему ты само путешествие это затеял, — ободряюще улыбнувшись, сказал Михайлов. — И сядь, ради бога, на тебя глядеть, на версту коломенскую, невмочь — голову закидывать приходится, шея немеет.

Раздались смешки, восклицания. Максимов ссутулился еще сильнее и быстро сел в ближайшее кресло. И сразу заговорил, как бы стремясь поскорее покончить с неловкостью:

— Я, господа, за офенским языком поехал... Это, если кто-то не знает, жаргон коробейников — торговцев вразнос. Сами себя они офенями зовут, а в народе и как вязниковцы слывят, и как владимирцы. И точно — почти все они выходцы из Вязниковского уезда Владимирской губернии.

— А чем они по преимуществу торгуют? — поинтересовался Дружинин. — Знаете, как-то не приходилось их услугами пользоваться...

— Красный товар больше — ситцы разные, иная мануфактура... Зеркальца таскают, бусы дешевые — на бабью потребу. Иные и картины лубочные носят, пряники окаменелые...

— Для чего же им тайный язык понадобился? — строго спросил тучный господин с золотой цепочкой на жилете. — Мошенники этакие!

— Истинное слово рекли, — пророкотал Курочкин. — Мошенники-с, да еще какие... Для того и язык потребен.

— Видите ли, господа, — продолжил Максимов, явно довольный тем, что завязалась общая беседа. — Тайные языки известны с времен древнейших. Преступники всегда изобретали жаргон, чтобы окружающие не могли проникнуть в их планы, — портили природный язык, добавляя в него отсебятину. И вообще все, кто заботился о сохранении тайны... Дети придумывают тарабарщину, семинаристы разговаривают на «поросычьей латыни», прибавляя к каждому слогу один условленный. Есть еще так называемый кантюжный, на котором объясняются шерстобиты, есть жаргон конских барышников, тех, что промышляют на ярмарках... Да уж если начистоту говорить, разве мы с вами, образованное общество, не взяли на вооружение своего рода тарабарщину — французский язык? Стоит слугам войти в комнату, сразу разучиваемся говорить на своем родном наречии...

— Совершенно с вами не согласен! — резко сказал господин с золотой цепочкой.

— А я согласен! — заявил Писемский. — Безобразие, черт знает, как можно на этом лягушачьем языке болтать! Слава богу, что я его не знаю, слава богу, что в гимназии не вбили в голову...

Дружный смех покрыл слова Писемского. А он и бровью не повел. Напротив, с полной серьезностью продолжал:



— Нет, в самом деле, хочешь неординарно выразиться — употреби дурное словцо, куда как душеполезнее выйдет... А вот скрывать, таить что-то — сие не по мне...

— Ох уж эти ваши парадоксы, Алексей Феофилактович... — скептически произнес Боткин, очевидно, не желая замечать иронический тон Писемского.

— Нет, я в самом деле от всей души благодарен Создателю за одно: удалось позабыть все, что мне вдалбливали в детстве... Дело в том, что я испытываю род органического отвращения к иностранцам. Присутствие какого-нибудь мусью действует на меня уничтожающим образом: я лишаюсь спокойствия духа и желания мыслить и говорить. Пока он у меня на глазах, я подвергаюсь чему-то вроде столбняка и решительно теряю способность понимать его.

— М-да-а, — огорченно протянул Боткин. — Все-таки, что бы вы ни говорили, Алексей Феофилактович, вы — славянофил. Хоть и утверждали, что с «Москвитянином» и Погодиным разошлись, а закваска прежняя осталась...

Тучный господин с золотой цепочкой потерянно заговорил, с ужасом глядя на Писемского:

— Но любовь к человечеству... прогресс, эмансипация?! Это же... это же пещерный голос какой-то...

— А кого вы эмансипировать хотите? — с ленцой спросил Писемский, остановив взгляд на обладателе драгоценной цепочки. — От чего?.. Меня, прошу, увольте... Люблю все недостатки своего племени, говорю свою уважаю... Прогресс, понимаешь...

Максимов слушал эту внезапно возникшую перепалку с недоверчиво-ироническим выражением. Гнев тучного эмансипатора выдавал в нем человека нового, иначе он не стал бы так кипятиться. Завсегдатаи майковских четвергов уже привыкли к эпатажным замечаниям Писемского и хорошо знали, что Алексей Феофилактович не такой уж ретроград, каким иной раз любит себя заявить. Многие

бывали у него дома, видели над письменным столом в кабинете портреты Жорж Санд и Белинского, да и книги лучше всего характеризовали Писемского как просвещенного и гуманного деятеля. Когда Максимов уже хотел было сказать обо всем этом вслух и тем самым успокоить незнакомого ему господина, бразды правления — в который уже раз — взял Дружинин.

— Прошу прощения, но я не имел чести быть представленным... — Александр Васильевич коротко кивнул толстяку. — Вы, как я понимаю, человек новый...

— Да-с, — оскорбленно глядя вокруг, отозвался тот. — Я полагал...

— Вы правильно полагали. Здесь вовсе не клуб плантаторов, перед вами цвет петербургской литературы, люди вполне либеральные... Вы, пардон, по какому ведомству?..

— Я, признаться, службу давно оставил-с...

— Пишете?

— Почтеннейший Александр Васильевич, я... — смешался обладатель цепочки. — Труды мои, видите ли, были до сих пор келейны, а редакции, в кои я имел смелость предложить...

Растерявшегося гостя поспешил выручить один из поэтов — завсегдаев майковских четвергов.

— Это князь Кулябко-Костецкий, Аполлос Иваныч, прошу любить и жаловать... Я знаком с его опытами, Александр Васильевич. Смею вас уверить, оч-чень интересные пиэсы. Аполлос Иваныч, вы нас осчастливите сегодня?

Толстяк растроганно утирал испарину со лба и только кивал, беззвучно шевеля губами. Потом сел подле поэта как бы в расчете на его защиту.

— Однако возвратимся к рассказу Сергея Васильевича, — призвал Дружинин и вставил в глаз монокль. — Мы, конечно, вправе прерываться для обсуждения известных понятий, однако давайте будем следить за нитью беседы...

И он поощряюще кивнул Максиму.

— Я хотел только доложить собравшимся, что мое путешествие в Вязниковский уезд окончилось полным крахом, — горько усмехнувшись, сказал Максимов. — Чуть в полицию офени меня не сдали — они, видите ли, за шпиона меня приняли...

— Нечто в гоголевском духе? — хохотнул один из гостей.

— Да нет, я сам перемудрил... Представлялся, зная их подозрительность, семинаристом, ищущим места учителя, а услышанные офенские слова потихоньку в книжку писал. А они, шельмы, приметливыми оказались... Кое-как ноги унес, спасибо, местный священник предупредил...

— Так вы, Сергей Васильевич, на собственном коште это предприятие замыслили? — спросил Боткин, незаметно подсевший близко к рассказчику. — Или вас какое-нибудь ведомство субсидировало?

— Да нет, за свои ездил. Вернее, авансировался у господина Старчевского в счет будущих очерков для «Библиотеки для чтения».

— О, да вы просто находка для Морского министерства! — воскликнул Дружинин и вынул из глаза монокль. — Тут иных за большие деньги не соблазнишь ехать, а вы... Знаете что, Сергей Васильевич, выбирайте-ка действительно наш Север и поезжайте. Если уж вы тут, рядом с большой проезжей дорогой сумели такую экзотику отыскать...

— Так в том и дело, что пока нет уверенности, включают ли моряки господина Максимова в число участников экспедиции, — вмешался Михайлов. — Панаев рекомендовал... Но, может, нужна еще чья-то поддержка?

— Отнесите этому князю Оболенскому очерки Сергея Васильевича, — пробасил Курочкин. — Они его лучше всего отрекомендуют...

— Что вы, не знаете этих господ? Будто им есть дело до литературных достоинств! — заговорил Кулябко-Костецкий, взмахнув короткими руками. — Мнение важного лица — это да...

— Ну нет, не скажите... — Михайлов со всей возможной учтивостью смотрел на вспыльчивого толстяка. — Времена сейчас другие. Нынче и важные особы заискивают в литераторах.

— Да какие же это другие времена?! — с сарказмом сказал Кулябко-Костецкий. — Какие другие?..

— Как глаголет Екклезиаст: есть время собирать и есть время разбрасывать камни, — назидательно заметил Курочкин.

— Так сейчас... — растерялся келейный писатель. — Сейчас-то что... собирать или...

— Разбрасывать, — твердо ответил Курочкин и, поднявшись, спросил: — Господа, не будет возражений, если я прочту нечто из Беранжера — как раз в разъяснение возникшего вопроса.

— Много обяжешь, Базиль, — сказал Михайлов, задорно блеснув очками. — Что-нибудь из новых переводов?

— Нет, представь, вернее, из новых, но не моих. Брат Николай из Крыма прислал — он ведь теперь врачом в действующей армии. Но Беранжера с моего, наверное, примера и там перекладывает.

Он встряхнул густой шевелюрой, медленно поднял руку и, чеканя слова, продекламировал:

Скатилась яркая звезда  
Могущества земного!  
Будь чист, мой сын, трудись всегда  
Для блага мирового.  
Того, кто суетно гремит,  
Молва уподобляет

Звезде — которая блестит,  
Блестит — и исчезает.

Когда он умолк, послышались возгласы «Браво!», «Как к месту!». Но среди гула голосов прорезался властный баритон:

— Господа, это, как хотите, непатриотично. Страна войну ведет, умирает самодержец, а в это время... Что за аналогии?!

Лицо Михайлова посуровело, он отыскал глазами говорившего — то был барственного вида мужчина, сидевший на канаве в явно не свойственной ему напряженной позе. Михаил Ларионович быстро, с напором произнес:

— Ах, вот как... Тогда не из Беранжера послушайте. Мое!..

И каким-то изменившимся, глухим, будто выцветшим голосом прочел:

Спали, Господь, своим огнем  
Того, кто в этот год печальный  
На общей тризне погребальной,  
Как жрец, упившийся вином,  
В толпе, рыдающей кругом,  
Поет с улыбкою нахальной  
Патриотический псалом.

...Когда в темноте возвращались от Майкова, идя набережной Мойки, Горбунов с восторгом говорил:

— Вот за это Питер все и предпочитают Москве! Вы посмотрите, какая тяга у молодежи в столицу. Эти споры, схватки. Который месяц здесь живу, а все не привыкну к накалу страстей.

— Ну, такие ристания здесь тоже недавно завелись. Я вот в апреле уезжал за офенским языком, так подобных

поединков, как сегодня у Михайлова с этим господином из «Санкт-Петербургских ведомостей», тоже не случилось. Это, Иван Федорович, за несколько месяцев воздух накалился... То ли жаркое лето подействовало, то ли... — Не договорив, Максимов задумался. — Наверное, действительно пришло время разбрасывать камни. Все чувствуют, что наступает что-то новое, небывалое... Да разве можно было вообразить еще прошлым летом, что люди станут говорить с такой откровенностью, не боясь чужих ушей?

— Разбрасывать камни... А как же тогда понять согласие того же Михайлова ехать в литературную экспедицию? Ведь он сам объяснял, что главная идея ее — собрать материал для подготовки нововведений, улучшения системы рекрутского набора.

— Это вы насчет того, чтобы перейти на французский манер и набирать рекрут для флота только из числа поморцев и поречан?

— Да.

— Ну, во-первых, Курочкин верно определил, что это только предлог для привлечения хороших перьев к сотрудничеству в «Морском сборнике»... А во-вторых, почему же и не поспособствовать улучшениям во флоте?

— Так это уже — не разбрасывать, а собирать...

Максимов улыбнулся и доверительно сказал:

— Да я и сам-то еще не понял, что нам нынче нужнее... Помните, Гоголь призывал: нужно проездиться по России... Если включат меня в число участников, то я через год берусь вам дать ответ...

— Ну хорошо, а другие — тот же Михайлов, — задумчиво произнес Горбунов. — Они-то как будто старше нас с вами, знают, чего хотят...

— Мне кажется, пока не очень. Вот и засобирались — проездиться... И понять: что разбрасывать надо, а что собирать...

## ПО РЕКРУТСКОЙ ЧАСТИ

Едва начало светать, когда крытые санки выехали с заставы и полетели по широкой накатанной дороге. Убрав в саквояж подорожную и «открытое предписание», коим местные власти обязывались оказывать содействие «командированному от Морского министерства», Максимов сунул руки в меховые рукавицы, запахнул плотнее долгополую шубу, поднял ворсистый енотовый воротник и затиснулся в угол возка. В небольшое окошко сквозь метель еще виднелись огоньки петербургской окраины, а мысли путника уже были за тысячу верст отсюда — в Архангельске. Ямщик отрывисто покрикивал на лошадей, колокольчик безостановочно молотил своим медным языком, да раскатившиеся сани глухо чиркали полозьями по наледи. Смежив глаза, Максимов пытался представить, как встретят его в самом северном из губернских городов. В первый раз отправился он в странствие не под чужою личиной, а как почтенный и даже важный господин. Жандарм, проверяющий документы на заставе, поначалу смотрел сквозь него, потом на мгновение остановил неодобрительный взгляд на его всклокоченной бороде, но едва прочел бумаги, вскинул к козырьку руку в перчатке. «Шоссе преотличнейшее, ваше-с...» Как и назвать-то бесчиновного литератора, не знал. В самом деле, купца мож-

но вашим степенством наименовать, какого-нибудь дьякона — вашим преподабием, даже жалкого коллежского регистратора — вашим благородием. А Литератора? (Так, с прописной буквы и была обозначена его «должность» в «открытом предписании».) Может, он и не дворянского звания вовсе — бороденка эта подозрительная, да и галстух из-под шубы выглядывает нескромный какой-то.

Не любят на Руси вне сословия пребывающих. Всяк должен занимать свою клеточку, как издревле повелось. Мужик ты — будь мужиком, землю паши; поп — при душе человеческой состои и мудрствованию тщетному о телесном отнюдь не предавайся; дворянином рожден — при службе казенной обретайся.

Сколько раз приходилось Максиму выслушивать подобные рассуждения. Даже отец родной — на что просвещенным и гуманным человеком слыл, — и тот эту чиновничью веру исповедовал. Пропитывался тридцать лет от казенной кормушки — и символ веры соответствующий принял... Прав, видно, Фейербах: человек есть то, что он есть...

Ногам в новых валяных сапогах было тепло, енотовая шуба грела не хуже деревенской лежанки. Если не открывать глаза, можно и в самом деле вообразить, что ты забрался на печь посреди почтовой конторы и наблюдаешь за отцом, который с изумительной сноровкой пересчитывает пачки ассигнаций, с невероятным изяществом в движениях штампует сургучные кляксы на пакетах...

Посад Парфентьев, где служил почтмейстером отец Максимова, считался медвежьим углом Костромской губернии. Он числился «за штатом», посему не было здесь даже того жалкого «света», что составлялся в любом уездном городишке из местных чиновников — судейских, Лесного ведомства, стряпчих. В посаде, славном только грибными торгами, книгочею-почтмейстеру и



поговорить-то не с кем было. Разве что заглянет отец-протоиерей или кто-нибудь из окрестных помещиков, едущих по своей надобности, посидит часок в конторе, ожидая почтовых лошадей.

Как светлые праздники, запомнились Сергею дни приезда в их дом отставного генерала Катенина, шумливого, энергичного гиганта с румяным лицом и лихими черными усами. Он жил недалеко от Парфентьева — то в своей усадьбе Шаево под Кологривом, то в усадьбе Колотилово под Чухломой. Со времен высылки из Петербурга в 1822 году Павел Александрович почти безвыездно сидел в деревне, мало общаясь с окружающим барством — людьми, по его мнению, ограниченными и скучными. Исключение составляли всего несколько соседей — и то, что в их число входил его отец, наполняло Сергея гордостью.

Катенин был яркой личностью с замашками большого барина старых времен. Ездил он чаще всего верхами, но следом за ним возили целую колымагу с припасами, коврами, с поваром и песельниками. Когда он летел по проселочной дороге на своем аргамаке, рукава белой черкески, подвязанные за спиной, развевались, как крылья. В поднятой им пыли скакала свита — полдюжины дворовых, набранных из самых отчаянных сорвиголов. Одетые так же, как и барин, в черкески, вооруженные кинжалами и нагайками, они с гиканьем влетали в попутные деревни, разметывая прясла, колотя горшки, выставленные для просушки, давя кур, распугивая овец и свиней. Но Катенин, верный своему пониманию справедливости, разбрасывал при этом направо-налево пригоршни монет. Понятно, что население деревни от мала до велика высыпало на улицу и не проклятия посылало вослед кавалькаде, а хвалы батюшке-генералу.

С годами Сергею Максимову стало ясно, что такие феодальные увеселения не делали чести Катенину, но тогда — в

детстве — слухи о них (порой истинные, а большей частью преувеличенные) создавали особый ореол вокруг имени опального гвардейца, друга Пушкина и декабристов.

Бывая у Максимовых, Катенин любил поговорить об изящной словесности, читывал свои переводы из Корнеля, стихотворные опыты, писанные торжественным стилем XVIII века. По своим вкусам он был старовером — всех после Пушкина считал «торговой литературой». Презирал за пристрастие к «низменным предметам». Надобно возвышать человека, изображать вождей и героев, передавать могучие страсти! А нынешние: эго диво — городничего иссрамить либо помещика-пьяницу ущекотать! Да моя бы воля, я бы таких писак за версту к журнальному делу не подпустил. И на театре расплодилось шелкоперы — все водевильчики грошовой строчат, зубоскалят над чиновной мелюзгой да над мужиком-подлецом. А где трагедия? Где новые Озеровы?

Катенин блестяще владел многими языками — бывало, возьмет из шкапа том на французском и, не переводя дыхания, «считывает» по-русски. А каков был его русский! Заслушаешься — ни единого галлицизма, пословицы одна ярче другой, определения людей и явлений таковы, что, кажется, и не скажешь лучше... Сергею представлялось, что Павел Александрович объял умом все области знания — не было для него неведомых наук, книг, сведений. И не с его ли примера стали жадно читать братья Максимовы — Сергей, Василий и Николай — романы исторических беллетристов, произведения Карамзина? Катенин так вдохновенно рассказывал о славных сынах России, о тех событиях, в которых проявилась мощь русского духа...

Позднее — это было уже в годы учения в Костромской гимназии — судьба пошлет Сергею Максиму новых наставников (не только из числа учителей). Но нравственное влияние Катенина скажется и в его тяге к самородному слову, в любви к театру. Не беседы ли генерала с его от-

цом, в которых высоко ставился Ломоносов, заронили в душу гимназиста интерес к этому академику из крестьян? На выпускном акте гимназии он прочтет свое сочинение «Ломоносов как первый русский ученый»...

Почтмейстер Максимов был человеком широких понятий. Он водил хлеб-соль с людьми разных сословий и состояний — главным условием считал самобытность и ум. Поэтому частым гостем в его доме бывал и купец-раскольник Папулин из недалежного посада Судиславля, приезжавший в Парфентьев за сушеными и солеными грибами — главным предметом своих переговоров.

Будучи человеком состоятельным — миллионщиком, по общему мнению, — Папулин содержал несколько старообрядческих молелен и скитов, охотно скупал старопечатные книги и иконы дониконовского времени. А однажды уговорил настоятеля храма в Сольвычегодске продать ему весь иконостас тамошней церкви, еще в XVI веке выстроенной именитыми людьми Строгановыми. Старообрядцы особенно ценили образа «строгановского письма». Когда об этой операции узнал граф С.Г. Строганов, один из влиятельнейших сановников империи, на Папулина обрушились жестокие кары. Были разорены его молельни, конфисковано имущество, а сам он бесследно исчез осенью 1846 года. Ходили слухи, что он заключен в монастырскую тюрьму Соловков.

Когда отец узнал о командировке Морского министерства, то напомнил Сергею о Папулине — коли ляжет дорога на Соловецкие острова, разведай о его судьбе.

Максимов открыл глаза. Возок стоял возле станции. Слышались голоса, скрип ремней — путешественник догадался, что меняют лошадей. Видно, не на шутку его сморило — верных тридцать верст отмахали. Высунувшись из окошка, Максимов окликнул конюха:

— Усть-Ижора, братец?

— Где, барин, Елизаветинское уж! Крепко почивать изволили.

«Хорошо в дороге спится», — подумал пассажир возка и снова провалился в полудрему. Опять замелькали знакомые образы, опять он ощущает себя мальчиком. Снова обступили его стены с дубовыми панелями, над которыми висят портреты благотворителей гимназии. И самый большой — купца первой гильдии Хавского.

Костромская гимназия слыла одним из известнейших учебных заведений такого рода. Долголетним руководителем ее был Юрий Никитич Бартенев, поставивший преподавание на образцовую высоту, пригласивший в учителя талантливых молодых людей, выпускников Московского университета. Попечителем Московского учебного округа, куда входила гимназия, многие годы состоял граф С.Г. Строганов, человек просвещенный и влиятельный, умевший обеспечить материальную сторону жизни воспитанников.

Лучший из домов города занимала Костромская губернская гимназия. Распорядился об устройстве ее здесь Николай I, когда побывал с визитом в «отчем гнезде» — именно в Костромском Ипатьевском монастыре укрывался в годы Смуты от «литовских людей» родоначальник династии Романовых Михаил.

Едва ли не каждый день проходил Сергей Максимов через главную площадь Костромы по дороге в гимназию и видел, как сооружается посреди нее мраморный столп в честь Ивана Сусанина. Правда, когда колонна была воздвигнута, ее увенчали бюстом Михаила в Мономаховой шапке, а Сусанин, отлитый из бронзы, поместился у основания памятника — выходило, что мемориал сей посвящен скорее монарху.

Старший летами Алексей Потехин, с которым Сергей Максимов подружился в гимназии, говорил, что идея сооружения монумента принадлежит Бартеневу, да только Тон, любимый зодчий императора, и скульптор Демут-Малиновский воплотили ее на иной лад<sup>1</sup>.

Алексей больше, чем кто-либо, подогрел страсть Сергея к историческим разысканиям. Именно он приносил ему все новые переводы Вальтера Скотта, романы Заголкина, велел прочесть «Записку о старой и новой России» Карамзина. И в театр они вместе бегали, прятались на галерке от бдительных глаз инспектора, за версту видевшего «красную говядину» — так прозвали гимназисты стоячий воротничок своего мундира.

В выпускном классе, кажется — Потехин тогда уже в Демидовском лицее учился, — познакомился Сергей с Писемским. Да не Алексей ли и свел его к нему в очередной свой приезд на вакацию? Это был первый литератор, воочию увиденный Максимовым. Про Писемского говорили, что у него уже целый чемодан рукописей, а напечатан был только один рассказ, но тем не менее в его доме постоянно толпились люди, прикосновенные к эстетическим предметам. Потехин и сам начинал пописывать и Максимова к этому побуждал. Правда, явить свои опыты Алексею Феофилактовичу друзья не решились, но мимолетное знакомство с ним впоследствии разрослось в настоящую дружбу, а слово его оказалось решающим при выборе поприща обоими молодыми костромичами...

Метель улеглась. В разрывы туч все чаще выглядывало солнце, и Максимов с удовольствием смотрел на искря-

---

<sup>1</sup> В 1967 г. в Костроме был возведен новый памятник Ивану Сусанину работы скульптора Н. Лавинского.

шуюся белую равнину, тянущуюся слева от дороги, лишь кое-где оживляемую островками леса.

Вот промелькнула полосатая будка стражника, какие-то длинные сооружения из бруса. Максимов догадался: шлюзы. Значит, въехали в Шлиссельбург. А поле, распластавшееся у дороги, не что иное, как заснеженная Ладога, спящая подо льдом.

Подбежал смотритель, спросил подорожную. Прочитав «открытое предписание», хватанул воздуха побольше, крикнул:

— Еремей, Серка в корень закладывай, его превосходительство спешат очень.

И, ослабившись, предложил:

— Чайку-с? Самоварец готов. Баранки наисвежайшие. Варенье моршковое — супруга собственными перстами на островах собирала-с...

Когда сытые кони помчали возок по раскатанному до зеркального блеска тракту, а новый ямщик загудел бесконечную песню, Максиму подумалось, что многие его друзья по университету, наверное, позавидовали бы ему, едущему теперь с сугубо литературным делом навстречу целому году ничем не стесняемых занятий, при полной свободе в материальных средствах. А ведь еще шесть лет назад мечта сделаться писателем казалась просто недостижимой!

Он поехал в Москву с твердым намерением заняться филологией, но случилось такое, чего никто и ожидать не мог: правительство закрыло прием на все факультеты, кроме медицинского. После европейских «возмущений» 1848 года в России везде и всюду видели руку доморощенных крамольников, напивавшихся зловердных мнений от профессоров — выучеников науки германской. Философия и словесность попали в разряд подозрительных суемудрий. Медицина же — признанная для государственного

спокойствия вполне безвредной, а в видах сохранения здоровья подданных, а паче всего армейских чинов, даже полезной, — сподобилась высочайшего доверия. И всем желающим учиться было предложено определяться по медицинскому факультету.

Среди юношей, съехавшихся летом 1850 года в Москву и целыми днями толпившихся на университетском дворе, большинство мечтали именно о гуманитарных факультетах. В Европе напраказят, а русских по хребтам охаживают, съязвил один из молодых людей. Но потом, уже по зачислении в университет, Максимов приметил острослова в анатомическом театре — значит, и ему пришлось смириться с обстоятельствами.

Как ни принуждал себя Сергей, эскулапова стезя так и не увлекла его. Он просиживал больше времени на лекциях словесников со старших курсов, чем на своих факультетских занятиях.

По первости вновь поступившие держались землячествами — калужане с калужанами, туляки с туляками. Максимов со своими костромичами сидел и на лекциях, и в трактире столовался. Даже в бани вместе хаживали — в Сандуновские. Там-то, кстати, и новые знакомства завязались...

Когда распаренные молодые люди принялись одеваться, оказалось, что ближайшие их соседи тоже облачаются в студенческие вицмундиры. Разговорились. Выяснилось: рязанцы. Самый видный из них — огромного роста, с богатырской мускулатурой, с добродушным лицом — представлялся: Иван Колюбакин. Другой, изящный блондин с задумчивыми глазами, сказался Дмитрием Иловайским. Третий — Аркадием Эдельсоном.

Новые знакомые пригласили к себе на чай, благо жили они неподалеку. Пока хозяйка квартиры возилась с самоваром, подошли еще рязанцы, среди которых особо выделялся неугомонный весельчак Константин Мальцев.

Он тут же принялся изображать молящуюся старуху, к которой пристала собака. Взрывы хохота сопровождали это импровизированное представление.

Колюбакин не утерпел, присоединился к самозваному артисту, и теперь вдвоем они стали представлять стадо, которое гонит пастух: комната наполнилась мычанием, блеянием, криками. Заглянувший в дверь истопник в испуге перекрестился и молвил:

— Господа, а каким малодушеством занимаются...

Колюбакин мастерски читал комедии Гоголя, и однажды Аркадий Эдельсон представил его своему старшему брату, Евгению Николаевичу, хорошо известному студенческой молодежи по статьям в «Москвитянине» — единственном журнале на всю Первопрестольную. Издателем был университетский профессор русской истории Михаил Петрович Погодин, вокруг него группировалась талантливая молодежь — Эдельсон-старший входил в число постоянных участников вечеров в доме историка на Девичьем Поле.

О талантливом лицедее с медицинского факультета «москвитянинцы» узнали от Евгения Николаевича. Прослышал о нем и Александр Николаевич Островский, только что прославившийся пьесой «Свои люди — сочтемся». И однажды пришел на Спиридоновку, где Колюбакин и Максимов сняли комнатуху.

А потом студентам-медикам посчастливилось увидеть и других членов «молодой редакции» «Москвитянина»: Аполлона Григорьева, Бориса Алмазова, Третья Филиппова. Правда, мнения, высказываемые в кружке, не всегда легко было принять — они слишком отличались от привычных, впитанных за годы учения в гимназии. К Петру Великому, культ которого царил в империи, здесь относились весьма критически. В западной цивилизации видели много чуждого русскому национальному характеру.



Когда Максимов высказал мимоходом свое восхищение лекциями профессора Грановского, Погодин хмыкнул:

— Это ученый? Он говорит, как недоучившийся студент, начитавшийся немецких газет...

А Писемский, гостивший в тот раз у Михаила Петровича, возразил:

— Да нет, это просто старая чувствительная девка.

Постепенно Максимов привык к подобным оценкам и уже не удивился, услышав пренебрежительный отзыв Шевырева о недавно скончавшемся Белинском — главном его оппоненте. Ему стали нравиться стихи Языкова и Вяземского, Давыдова и Глинки, особо почитаемых в славянофильском сообществе.

Мало-помалу освоившись в литературном кружке «Москвитянина», Максимов не дерзал, однако, представить на его суд свои собственные произведения. Он понимал, что в сравнении с такими мастерами, как Островский или Писемский, будет просто жалок. Пуще всего Максимов боялся, как бы не прознали его новые знакомые, что он не раз уже заходил на Никольский рынок вместе с друзьями-студентами в надежде перехватить у тамошних издателей какой-нибудь заработок...

Никольский ряд располагался под Китайгородской стеной рядом с Лубянской площадью. Развалы книг на длинных столах, крики продавцов лубочного товара — печатных листов в четыре краски, излюбленных простонародьем. Здесь торговцы и издательским делом занимались, потрафляя главному своему покупателю — полуграмотному мешанину. При них обреталось целое племя «Никольских писателей», за неделю-другую изготовлявших романы на вкус рыночной публики. Названия выбирали позабористее: «Убийство княгини Зарецкой», «Злодей Чуркин». Описывали страшных колдунов и

удачливых любовников, сочиняли гадательные книги и руководства для желающих преуспеть в коммерции. Стоили такие сочинения для издателя недорого — взглянет, бывало, на принесенную рукопись, пролистает, хмыкнет: название вроде подходящее — «Кровавое преступление в алькове». И выдаст автору пять рублей.

Максимов и Колюбакин познакомились с одним из «Никольских мэтров» — Аркадием Марковым, который и стишок к дню именин умел сложить, и надгробную эпитафию к сроку исполнить. Человек небесталанный, но давно на себя рукой махнувший, он соотносил размеры своих гонораров с трактирными ценами. Лубочные издатели, знавшие страстишку Маркова, не церемонились с ним. Швырнет такой «хозяин» его рукопись на весы, кинет в пустую тарелку одну-другую гирьку и приговорит:

— Э-эх, Аркашка, всего и начирикал полтора фунта... Ну да ладно, только из человеколюбства зелененькую изволь...

Схватит бедолага трехрублевую бумажку — и со всех ног в Печкинскую кофейню, где московский пишущий люд нечто вроде литературного клуба учредил. Или в «Железный», где студенты собираются, там тоже весело и умный разговор есть кому поддержать...

С хрипом и писком, словно простуженная, выводит машина-оркестрион мелодию «Вот на пути село большое». Иван Колюбакин, сидя на полу с местным силачом, половым Семеном, пытаются перетянуть друг друга, схватившись за железную кочергу. Вокруг стоят с трубками в руках сокурсники Ивана, подбадривают состязающихся. У стола, где идет читка «Репертуара и пантеона российского театра», столпились студенты. Глухо стучают шары в бильярдной.

Аркадий спрашивает графинчик очищенной, селянку и принимается рассказывать «господам скубентам» о благо-

детельности литературных упражнений в видах денежного воспомоществования.

Максимову не раз пришлось воспользоваться услугами «Никольских издателей» — и французские бульварные книжонки перекладывал, и компиляции из российских писателей составлял, ибо у торговцев свой вкус имелся: «Недурственно господин Гоголь про чертей сочинил, однако в эмпирии занесся, на наш ндрав перефасонить надобно». И перефасонивали — «Дубровского», «Страшную месть», «Героя нашего времени»...

На второй день пути пересекли границу Олонецкой губернии. Дорога сразу стала хуже, на выбоинах санки то и дело швыряло, и покойно дремать, как это было на шоссе в пределах столичной губернии, Максимову не удавалось. Все-таки, думалось ему, Петербург остается по сию пору оазисом порядка и цивилизованности в этой огромной державе. Отъедешь сотню-другую верст в сторону и увязнешь в российской лени и расхлябанности — поди останься славянофилом, так и подмывает изругать неумытое отечество. Он вспомнил свои первые впечатления от невской столицы, как поражала после Москвы деловитость ее жителей.

В Питер он перебрался в 1852 году, лелея надежду поступить на филологический факультет университета. Однако и здесь это намерение пришлось оставить, а для продолжения образования определиться в медико-хирургическую академию. О серьезных занятиях словесностью оставалось по-прежнему только мечтать.

Вскоре, перезнакомившись с новыми однокашниками, Максимов понял, что среди них много лекарей поневоле — вроде него самого. Николай Курочкин, с которым Сергей особенно сблизился, также мечтал о литературной

деятельности. Его брат Василий, служивший в гренадерском полку, проклинал армейское ярмо, мешавшее ему целиком отдаться творчеству. Хотя судьба вольного художника тоже не сулила ничего хорошего — редакции журналов редко принимали к напечатанию его прозу и стихи, а если и брали что-то, платили гроши.

Братья снимали квартиру в Манежном переулке. Пригласили к себе в компаньоны Максимова. Сергей с радостью согласился — его влекли к себе эти жизнерадостные, остроумные молодые люди. В их прокуренных комнатухах постоянно толпились гости: студенты, литературные прелетарии, начинающие живописцы.

У вечно нуждавшихся обитателей квартиры на Манежном самый живой интерес вызывали слухи о новых литературных предприятиях. Когда заговорили о намерении журнального дельца Старчевского издать приложением к «Библиотеке для чтения» многотомный «Справочный Энциклопедический словарь», пишущий люд пришел в возбуждение — это же тьма статей, без услуг студентов не обойтись.

Адальберт Викентьевич Старчевский был фактическим руководителем журнала, излюбленного российской глубинкой. «Библиотека» собирала в иной год до 50 тысяч подписчиков. Ее любили за «легкость», за занимательность. Инициатор ее издания и многолетний редактор Осип Иванович Сенковский, подписывавшийся «Барон Брамбеус», имел безошибочное чутье литературного промышленника и умел примениться к требованиям рынка. Но к началу пятидесятых годов он охладел к своему детищу и отошел от руководства журналом. Выдвинутый им молодой журналист Старчевский также обладал завидной издательской жилкой, к тому же это был человек торговой складки — «Библиотека» виделась ему как доходное дело. Его изобретательный ум пошел дальше того, что оставил в наследие патрон. Если Сенковский «взлетел» когда-то на

простом нововведении — стал печатать картинки парижских мод, — то Старчевский задумал столь прибыльную вещь, как словарь. Ежели всех провинциальных подписчиков убедить, что такое издание необходимо в семье, как друг и советчик... Сумма барыша представлялась астрономической.

Когда Василий Курочкин привел к редактору «Библиотеки» Максимова, Старчевский показал студенту-медику листы с заглавиями статей, которые предполагалось поместить в словаре. Сергей выбрал несколько, связанных единой темой — народоведение, между ними биографическую заметку о Дале. Идучи на Манежный, объяснял Курочкину:

— Мне еще Писемский в Москве сказал: есть у тебя наблюдательность, ты много в глуши жил — пиши очерки простонародной жизни. Погляди, какой нынче голод на них — публике только подавай «картинки русских нравов». Вот ведь что значит: француз узаконил — и у нас в моду вошло.

— Ну, сказанул, — обиделся Курочкин. — Да тот же Даль задолго до французских физиологий стал нас крестьянскими рассказами потчевать.

Когда они вернулись домой, Курочкин взял из стопки пропыленных книг кое-как разрезанный томик, обтер его рукавом и сказал:

— Ты это наверняка читал. «Физиология Петербурга».

— В Костроме еще, — отозвался Максимов. — Кое-что до сих пор помню — про шарманщиков, про дворника. Да-да, про дворника особенно — это как раз Даль и сочинил.

— А предисловие помнишь? Его Белинский писал.

— Нет, признаться...

— Так тут как раз к тебе призыв, для тебя программа. Послушай, наберись терпения. «У нас совсем нет беллетристических произведений, которые бы в форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний познакомили

с различными частями беспредельной и разнообразной России, которая заключает в себе столько климатов, столько народов и племен, столько вер и обычаев и которой коренное русское народонаселение представляется такую огромною массою, с таким множеством самых противоположных и разнообразных пластов и слоев, пестреющих бесчисленными оттенками. Если и были попытки на сочинения такого рода — все они, от чувствительного “Путешествия в Малороссию” князя Шаликова до фразистой “Поездки в Ревель” Марлинского, могут считаться как бы не существующими. А сколько материалов представляет собою для сочинений такого рода огромная Россия! Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь — все это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему! Мало этого: сколькими оттенками пестреет сама Великороссия не только в климатическом, но и в общественном отношении! Северная полоса России резко отличается от средней, а средняя — от южной. Переезд из Архангельска в Астрахань, с Кавказа в Уральскую область, из Финляндии в Крым — все равно что переезды из одного мира в другой. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса — какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!»

Максимов с одобрением кивал, слушая Курочкина. А когда тот закончил, со вздохом сказал:

— Да ведь для того, чтобы за такое дело взяться, надо свободным человеком быть и хоть какие-то средства иметь. Даль — тот по казенной надобности много путешествовал... Есть еще один знаток крестьянской жизни —

Павел Якушкин, из «москвитянинского» окружения. Он по заданию Петра Васильевича Киреевского по Руси пешком бродил, песни и поверья собирал... У него хоть небольшое именье где-то в Орловской губернии есть. А у меня что? Да и учиться надобно — почитай, три года еще. А потом полковым лекарем заткнут куда-нибудь в Бессарабию, и поди попутешествуй тогда...

— Знаешь что, бросать тебе надо академию! — Курочкин даже кулаком по столу пристукнул. — А мне в отставку подавать! Перебьемся как-нибудь и литературным заработком. Лиха беда начало. Идет?..

И он протянул Максиму руку. Тот подумал несколько мгновений и наконец с отчаянной решимостью хлопнул по раскрытой ладони своей жилистой пятерней.

На одной из станций Максиму со всевозможными извинениями предложили посидеть в ожидании лошадей. «Экая незадача! — сокрушался смотритель. — Три фельдъегеря за один день — и все грозят, ногами топают, в загрибок тычут. Ну как не дашь?..»

Едва путник скинул шубу и принял из рук смотрительши неизбежную чашку чая, послышались звон колокольца, храп осаживаемых лошадей, и на крыльце затопали. В клубах пара ввалился могучий господин в статской шинели. Из-под башлыка, концы которого были перекрещены на груди и связаны за спиной, торчали большие обывделевые бакенбарды.

Смотритель бросился к новому гостю, помог разоблачиться. Мелькнула красная подкладка. Из-под башлыка показалась лысина. Наконец коренастый хозяин генеральской шинели предстал перед чайным столом, величаво кивнул Максиму, легким движением распушил седые бакенбарды и сел подле хозяйки на подсунутый смотрителем венский стул. Осведомился:

— В Петербург?

— Нет, в Архангельск, — ответил Максимов.

— Далекохонько. Бр-р... Не позавидуешь вам, по такому морозу-то...

— Казенная надобность, — обреченно пожал плечами Максимов.

В своем собеседнике писатель сразу распознал вездесущий тип российского администратора, уважающего только казенный интерес, им все на свете поверяющего. Он не терпит противоречий, не любит неопределенности, любая мелочь, не регламентированная по чьему-то недосмотру, представляется ему опасным упущением.

— Каков же, если не секрет, предмет вашей поездки?..

Бакенбарды встопорщились веером, кожа на лбу собралась в гармошку, когда генерал принялся дуть на чай.

— Морское ведомство командировало меня для исследования быта жителей Поморья. Из их числа предполагается брать рекрут во флот...

— А, превосходно... — Морщины сбежали с генеральского чела. — Выходит, по рекрутской части... Почтенная миссия.

Максимов хотел было оспорить начальственное мнение, но удержался от возражений, вдруг поняв, что собеседнику вовсе не нужна истина, что он уже решил для себя, кто таков его визави, поместил его на соответствующую полочку таблицы о рангах и предался умиротворенному чаепитию. Узнай он, что перед ним путешествующий литератор, что задачи, поставленные перед ним, не столь однозначны, в душе его, несомненно, смута воцарится — нет такой должности по регламенту...

Писатель не раз убеждался, что всякое несоответствие установившемуся порядку, всякое «вылезание за рамки» чревато для несоответствующего неприятными осложнениями. За годы царствования Николая Павловича почтение к



определенности, распорядку во всех областях жизни сделалось для чиновного человечества подобием религии. Любая самодеятельность рассматривалась едва ли не как крамола. Ибо все давным-давно было рассмотрено и предписано высшим начальством. В «Своде законов Российской империи» не только о порядке престолонаследия трактовалось, но и свойства кирпича излагались, способы сушки оного предписывались, время обжигания глины и как следует гнуть железо, указывалось молотить хлеб в хорошую погоду, разводить в огородах овощи, дворникам вменялось в обязанность вынимать из печей золу «прежде их топки».

Для представителей власти, отказывающейся своим подданным в хозяйственной самостоятельности, непереносима и сама мысль о независимой деятельности в иных сферах — в творчестве, в религиозной жизни. Не говоря уже о политике — здесь монополия правительства оказывается полной и всякое сомнение в ее благодетельности подлежит наказанию... Такие мысли, не связанные с непосредственными целями его поездки, отвлекли от воспоминаний.

Когда свежая тройка помчала его по лесной дороге, он снова и снова возвращался к спорам недавних дней, когда Петербург, взбудораженный смертью монарха, на все лады обсуждал итоги царствования, а также возможные перемены в правительственном курсе. Как будто и не бывало того патриотического единения, которое охватило русское общество в начале Крымской войны, заставив забыть тогда оппозиции и недовольство. Даже в литературе совершилось примирение всех и вся — Некрасов вторил Кукольнику и Полевому, славя самодержца и армию.

В первый год своего учения в Москве Сергею Максиму пришлось наблюдать демонстрацию царелюбивых чувств. Когда в дни торжеств по случаю постройки Боль-

шого Кремлевского дворца в Белокаменную пожаловал сам император, восторгам народным, казалось, не было предела. Толпа, запрудившая площадь у Большого театра, остановила царскую коляску и выпрягла лошадей. Десятки рук вцепились в оглобли, десятки ног пришли в движение и помчали Николая Павловича под восторженный рев тысяч людей. Император, величаво высившийся в экипаже, благосклонно помахивал рукой. Подъезжая к Иверской часовне, он посуровел лицом и строго сказал державным басом: «Довольно!» Народ во мгновение ока рассыпался, дав дорогу фореитору с лошадьми.

Начало войны с Турцией также ознаменовалось патриотическими манифестациями. Газеты пестрели призывами «На Дунай!», печатали стихотворные оды Аполлона Майкова про

Идеал России молодой,  
Который светит нам водительной звездой,  
Тот гордый идеал, который, окрыляя  
Любовию наш дух в годину горьких бед,  
Все осязательней и ярче тридцать лет  
Осуществляется под скиптром Николая.

И вдруг колосс зашатался. Пришел севастопольский разгром, пришли унижение и нестерпимая боль.

Колосс рассыпался. Осиротевшие патриоты принялись остервенело топтать груду глиняных черепков.

Теперь твердят о «мрачном семилетии», о том, что после сорок восьмого года и вздохнуть нельзя было. Одних цензур насчитали как-то, в кофейне сидя, двенадцать...

Все это так. Но для Максимова то были годы, когда он стал на ноги как писатель. В 1854 году «Библиотека для чтения» напечатала шесть его очерков из крестьянского

быта Костромской губернии. О них сочувственно написал Панаев. Михайлов передал Максимову, что «Сергач» — рассказ о поводырях ученых медведей — привел в восторг самого Тургенева. В одном из литературных домов столицы вскоре произошла их встреча — признанного мэтра российской словесности и начинающего автора...

Голубоглазый белокурый гигант, с симпатией глядя на Максимова, сжал его руку в своих ладонях и принялся расспрашивать, откуда у него такие глубокие познания простого народа. Ведь и я среди мужиков жывал, говорил Тургенев, сам помещьем владею, «Записки охотника» мои вы, надеюсь, читали... Но ваши, милостивый государь, очерки — это же целый новый мир, неведомый материк.

Даже предупреждение Михайлова о том, что Иван Сергеевич — человек увлекающийся, щедрый на похвалы, не подействовало: Максимов от смущения и гордости так разволновался, что двух связных фраз не смог сказать в ответ. Если б не Михаил Ларионович, умело обративший эту беседу в общий разговор, начинающему писателю долго пришлось бы краснеть и корить себя за косноязычие.

— Прямой наследник натуральной школы, — говорил Михайлов, любовно глядя на Максимова. — То-то Белинский порадовался бы, будь он жив.

— Ну, я бы не сказал так, — вмешался один из гостей. — Натуральная школа отрицает все и вся, выискивает в действительности изъяны, а господин Максимов яркие и цельные народные типы показывает... Он положительный писатель, без нытья, без оплакивания мнимых жертв российской действительности.

— Вас послушать, так лучшую характеристику натуральной школы генерал Мусин-Пушкин дал, председатель цензурного комитета, — со смешком сказал Михайлов.

— А что такое он изрек? — заинтересовался Тургенев.

— Да вызвал он как-то Якова Буткова и стал разносить за его повесть «Людишки». Натуральную школу-де выдумали, бездельники! Да разве натура-то, кричит, в грязи? Тряпичники! Только на задних дворах сюжетов ищете. Так сами и любуйтесь ими, а не публике образованной показывайте! Разве литература для того допущена правительством, чтобы ваше вредное пустословие в народе распространять?!

Тургенев невесело рассмеялся, а противник натуральной школы надулся и отошел в сторону. Иван Сергеевич еще раз с чувством пожал руку Максиму и произнес:

— Не знаю, как вы сами себя числите — партизаном натуральной школы или нет, но если граф Мусин-Пушкин вас по этому ведомству причислит, берегитесь...

Позднее Михайлов рассказал, что именно по донесению председателя Цензурного комитета, науськанного Булгариным, император распорядился в апреле 1852 года посадить Тургенева на съезжую, а затем выслать из столицы в деревню. И всего лишь за то, что Иван Сергеевич в некрологе, напечатанном в «Московских ведомостях», Гоголя великим назвал...

Чем дальше на север, тем сильнее пуржило, лошади часто переходили на шаг, перебредая наметы снега на дороге. Февраль показывал свой нрав во всей красе. Если приходилось пересаживаться из крытых саней в обыкновенные, Максимов укутывался до самых глаз, а то и совсем закрывал лицо, нахлобучив башлык, когда ветер со снежной крупой не давал смотреть. Четверо суток такой дороги измотали путника, и его уже не обрадовал ни чудесный Каргополь, выбежавший из-за леса со своими десятками церквей, ни Антониев-Сийский монастырь с его четырьмя каменными храмами. Одно желание жило в душе путешественника: отоспаться как следует в теплом номере хорошей гостиницы и не слышать нескончаемый звон бубенцов...

Если в начале пути ему представлялось, что многие из его друзей позавидовали бы ему, едущему в литературную экспедицию под сенью имени августейшего покровителя — Константина Николаевича, то теперь он уже сам старался представить себе, как течет жизнь тех, кто никуда не едет. Островский только по весне на Волгу отправится, а пока благоденствует в своем домике у Николы в Воробине — в самом сердце замоскворецких заулков. Усердный посетитель Александра Николаевича — его любимый собеседник Егор Дриянский, отзывчивый и мягкосердечный человек, готовый в лепешку расшибиться, устраивая литературные и житейские дела своих друзей, но в собственных неудачник. С грехом пополам напечатал одну из своих повестей да комедию, а ведь человек далеко не бесталанный.

Вспомнился Максимову еще один постоянный гость Островского — Иван Колюбакин. Как-то он там? И он ведь забросил медицинский факультет, подался в актеры. Говорили, что видели его в Нижнем Новгороде, выступал на ярмарке с какой-то заезжей труппой.

Другой их однокурсник — Дмитрий Иловайский тоже с медициной расплевался, как Гоголь говаривал. Всегда его исторические изыскания тянули, слышно, сумел-таки Дмитрий выйти на свою дорогу. Пишет сейчас «Историю Рязанского княжества», еще в университете грозился родную землю возвеличить, яро всегда за Рязань и ее место в русских судьбах с другими патриотами — особенно москвичами — схватывался.

А вот Константин Леонтьев, как и Максимов, о литературе мечтавший, читавший друзьям по медицинскому факультету свои повести, так и не смог с предначертанной монаршей волей стези сойти — тянет лямку военного лекаря. Если жив, конечно, до последнего времени в Севастополе, в самом пекле, служил.

По ассоциации вспомнился и Николай Курочкин, тоже до последних дней Севастопольской обороны оставшийся в осажденном городе. Где-то он сейчас? Сумеет ли переменить судьбу, как брат его, как сам Максимов? Ведь и он литератор божьей милостью...

Лошади стали. Снег заскрипел под сапогами. Пассажир возка приподнял край башлыка и увидел, что ямщик возится с колокольчиком.

— Эй, любезный, что это ты делаешь?

— Подвязываю язык побрякунчику — не моги звенеть в губернском городе, потому закон такой.

— Так неужто Архангельск уже?

— Истинно так. Вон за поворотом шлагбаум будет.

Максимов перекрестился. К исходу пятых суток он достиг цели, вожделенное тепло и отдохновение уже близки.

— Так вези меня к лучшей гостинице.

— А здесь нету гостиницы, нету ни единой.

— Вези на почтовую станцию.

— Да там не становятся — комнат нету.

— Что же мне делать?

— А вот толкнемся в трактир, может, пустят.

— Сделай милость!

В тот же вечер, отведав селянки с двинской рыбой, Максимов сделал первую пространную запись в своем дневнике, сохранив для истории образ трактирщика — толстого, флегматичного, но с готовностью отвечавшего на все вопросы.

Когда путешественник лег на необъятную перину и задул свечу, тьма снова наполнилась скрипом полозьев, храпом лошадей, звоном бубенцов. И в сны его врывались: спина ямщика в романовском полушубке, обындевелые конские гривы, мелькающее в вершинах елей холодное солнце...

## ГОД НА СЕВЕРЕ

**И**з Архангельска Максимов выехал только в начале мая 1856 года, после двух с половиной месяцев «теоретического» ознакомления с губернией в библиотеках и архивах.

Лошади пробирались донельзя разбитой гатью вдоль Северной Двины. Сидя в телеге, громко именовавшейся почтовым экипажем, путешественник едва успевал отмахиваться еловой веткой от комаров.

Несколько десятков верст дороги измучили писателя до такой степени, что он предпочел почти весь путь вдоль берегов Белого моря проделать на морских судах — для большого начальника, каким почитали Максимова, всегда находилась каютка, обтянутая парусиной, где он мог заняться своим дневником, не опасаясь шальной волны или дождя. Комфортабельным такой способ передвижения тоже нельзя было назвать, особенно в штормовую погоду. Но по крайней мере от гнуса, от изматывающей тряски и пыли пассажир карбасов и шхун был избавлен.

Максимов наизусть запомнил врученную ему при отъезде из Петербурга программу исследований, подписанную управляющим Морским министерством бароном Ф.П. Врангелем. В этом документе говорилось:

«Вследствие изъявленного Вами желания отправиться по поручению Морского министерства обозреть жителей Архангельской губернии и побережья Белого моря, занимающихся рыболовством и судоходством, для составления по этому предмету статей в “Морской сборник” прошу Вас обратить при сем особенное внимание на: а) их жилища, их промыслы, с показанием обстоятельств, благоприятствующих и мешающих развитию оных, в) суда и разные судоходные орудия и средства, ими употребляемые, означая их названия и представляя, если возможно, их изображение на рисунке, с) физический их вид и состояние и d) преимущественно их нравы, обычаи, привычки и все особенности, резко отличающие их от прочих обитателей той же страны как в нравственности, так и в промышленном отношении, а равно и в речи, поговорках, поверьях, и т.п. Если Вы найдете возможным подметить и другие характеристические черты обозреваемой Вами страны и ее жителей, то совершенно от Вашего усмотрения будет зависеть вместить их в описание, как признаете за лучшее. Морское начальство, не желая стеснить таланта, вполне представляет Вам излагать Ваше путешествие и результаты Ваших наблюдений в той форме и тех размерах, которые Вам покажутся наиболее удобными, ожидая от Вашего пера произведения, его достойного как по содержанию и изложению, так и по объему».

Перерыв имевшуюся в Архангельске литературу, Максимов обнаружил, что книг по интересующим его вопросам очень мало. Да и те, что были, относились к отдаленным временам — записки академиков И.И. Лепехина и Н.Я. Озерецковского, посетивших Архангельскую губернию в 70-х годах XVIII века, описание Беломорья архангелогородца А.И. Фомина, члена-корреспондента Петербургской Академии наук, созданное в конце того же XVIII века. Относительно свежие сведения имелись



только в отчете биолога А.И. Шренка о поездке по Русскому Северу в 1837 году да в «Очерках Архангельской губернии» В. Верещагина, изданных в 1849 году. Несколько десятков статей и заметок удалось разыскать по разным журналам. Но самое интересное писатель почерпнул в неофициальной части «Губернских ведомостей». Просмотрев все комплекты газеты с 1838 года, когда она начала выходить, он отыскивал любопытные факты по всем пунктам, обозначенным в программе. Из самых глухих мест губернии писали сельские учителя, мелкие чиновники, священники, просто грамотеи — и из мозаики, собранной их стараниями, выстраивался образ неведомого мира.

Как и вся Русь, Север был крестьянской страной. Но в отличие от мужика центральных губерний, тяготевшего к Москве и Питеру, здешний не связывал всех своих надежд с землей или с отхожим промыслом. «Море — наше поле», — говорили прибрежные жители. Да и те, кто селился по большим рекам вдали от морской нивы, собирали товарищества — «покруты» — для охоты на тюленей, моржей, для рыбного промысла.

Вторым важным отличием было то, что Север никогда не знал крепостнических отношений и вообще меньше чувствовал «державную узду». В эти края постоянно бежали раскольники и сектанты. Да и само правительство будто заботилось о том, чтобы «полунощные страны» не оскудели вольнодумцами или просто яркими личностями: на протяжении нескольких столетий из центральных и южных губерний высылались участники крестьянских и казачьих бунтов, опальные вельможи, члены царских фамилий.

Получив доступ в архивы, Максимов смог значительно пополнить свое представление о своеобразии исторических судеб края, очень долго бывшего воротами в мир для Русского государства, отрезанного от морей. Архан-

гельск и возник-то из потребности в развитии заморской торговли.

Когда выдавался хороший денек, посланец Морского министерства отправлялся побродить по городу, в самом облике которого хранилась память о старине.

На набережной Северной Двины высились руины Монетного и Гостиничного дворов, выстроенных из красного кирпича, за тридевять земель завозившегося голландцами. Массивные башни и толстые стены, еще уцелевшие от разрушения, свидетельствовали не только о добросовестности древних строителей, но и о размахе когда-то производившейся здесь торговли. Даже полуразобранные строения тянулись на добрую четверть версты.

Невдалеке начиналась Немецкая слобода — аккуратные ряды чистеньких деревянных домов, выкрашенных яркими красками. Над ними возносились шпили двух церквей — лютеранской и реформатской. Население слободы, состоявшее из немецких коммерсантов, сумело за столетия, прошедшие со времен основания города, не раствориться среди русских мещан. Колония жила, отгородившись от интересов страны, ее приютившей, и рассматривала Россию как своего рода резервуар, из которого можно выкачивать барыши. В этом отношении Архангельск напомнил Максимову невскую столицу, где значительное немецкое население также старалось сохранить цеховую структуру, предотвратить смешение с «туземцами». Там общества немецких врачей, союзы немецких булочников — а здесь немецкие торговые компании, сообща давящие русских конкурентов.

В архиве писатель наткнулся на челобитную от «посадских людей Архангельского города», поданную на имя царя Алексея Михайловича. Как будто двухсот лет не прошло, настолько созвучны были тревоги людей семнадцатого века заботам архангелогородцев середины

девятнадцатого столетия. «Жалоба, государь, нам на торговых иноземцев голанские и амбурские и бременские земель: живут они иноземцы у Архангельскаго города с нами, сироты твоими посадскими людишками в ряд, и поставились они иноземцы своими выставочными дворами на наши тяглые места, а на твои великаго государя гостиные торговые двory, которые у Архангельскаго города они иноземцы дворами своими не ставились и теми своими выставочными дворами они иноземцы тех земель нашу искони вечную мирскую дорогу заперли, и скотишку нашему на мирскую искони вечную дорогу от их дворов учинился запер, и проходу скотишку нашему нет, и нам сиротам твоим для дороги проходу нет... А мы, государь, сироты твои бедные людишки от тех выставочных дворов и анбаров, и погребов и поварен в конец погибли, обнищали и одолжали великими долги, что они иноземцы завладели нашими тяглыми месты. А твоих, великаго государя, податей с нами сироты твоими с тех наших тяглых мест в ряд не платят, да они же иноземцы разъезжают по волостям и покупают у волостных крестьян скот и рыбу и всякой харч, и тем они иноземцы покупкою своею нас, сирот твоих, изгоняют, а твою, великаго государя, теми отъезжими торги с волостными крестьяны они иноземцы пошлину обводят и пошлины не платят, а у нас, сирот твоих, не покупают. А у нас, государь, сирот твоих, никаких больших торгов нет, oprичь мяса и рыбы и всякаго харчу, и от того мы, сироты твои, от них иноземцев вконец погибли».

На невеселые мысли наводило сравнение века нынешнего и века минувшего. До каких же пор русские люди будут почитаться гражданами второго сорта в собственном отечестве? Со времен петровских это идет, говаривали в «москвитянинском» кружке, это «немецкий царь» придал крепостному праву наиболее невыносимую форму. Все

инородцы в России остались лично свободными — татары, башкиры, чувашаи и прочие, и прочие. И только народ-победитель всех этих Казанских царств и Сибирских ханств оказался в положении раба у себя на родине!

Занося в свой дневник услышанные предания, делая зарисовки быта, Максимов как бы вел постоянный диалог со своими московскими и петербургскими друзьями. Ему хотелось в самой жизни народной, в обычаях и песнях найти свидетельства того, что русский человек всегда высоко ставил те ценности, которые почитали за благо европейские народы: свободу, чувство собственного достоинства, предприимчивость. И самому себе, и далеким теперь единомышленникам он хотел доказать, что пренебрежительное отношение к своим и низкопоклонство перед иностранцами вовсе не имеют корней в народном мироотношении. Но где же тогда корень этого постыдного явления, спрашивал он себя. Пока не будет найден ответ на этот вопрос, он не сможет со спокойной душой исповедовать славянофильство, быть народопоклонником или, наоборот, отвергнуть все это и стать в ряды западников.

Он помнил и свое обещание ответить на вопрос Горбунова, что стоит разрушать, а что охранять в сегодняшней России. Сначала только надобно разрешить эту задачу для себя самого.

Максимов вглядывался в бородатые лица поморов. Ни тени страха или сомнения не было в них, когда они собирались на морского зверя, когда кругом кипело и вздымалось волнами штормовое море. Он слушал их вполне будничные рассказы о том, как несет охотников на оторвавшихся льдинах в безбрежный простор.

В первых же встреченных поморах путешественника привлекло удивительное простодушие — они посвящали его в малейшие подробности своей жизни, вплоть до самых интимных. Писатель сделал заключение, что условия

их существования не выработали потребности в таких сторонах характера, как хитрость и осмотрительность. В беломорских селениях все было на виду, все строилось на доверии. Дома не имели замков; если хозяевам надо было уйти, они подпирали дверь палочкой, да и то не от людей, а от бродячих собак.

Бросалась в глаза и другая отличительная черта поморов — любопытство. По-видимому, не привыкнув скрывать, утаивать, они и от других требовали полной откровенности. Стоило Максимову появиться в очередном селе, как его окружали толпы мужиков, требовавших обстоятельного рассказа, кто таков приезжий и по какой надобности следует.

Но так было лишь в ближних к Архангельску местах. Когда начались раскольничьи деревни, путешественник стал примечать и иные повадки. Там, где селились исповедники «истинной веры», дух открытости исчезал, заменяясь привычной для российского простолюдина недоверчивостью к начальству. Натерпевшиеся от чиновничьих притеснений, приверженцы дониконовского православия и к гостю из Петербурга относились настороженно. Стоило ему войти в избу, как хозяева принимались суетливо осматриваться, задерживали пеленой иконы, прибирали в шкафчики все, что напоминало об их религиозной принадлежности: лестовки — матерчатые четки, старопечатные книги. А иные и с камильницей выходили, курили ладаном, дабы иноверный дух извести.

Местные власти, заранее извещенные губернским правлением о прибытии представителя Морского министерства, немало постарались о том, чтобы вселить в обывателя страх перед «большим начальником». Да и обращение исправлявших полицейские обязанности сотских и десятских со своими односельчанами не располагало их к словоохотливости.

В одной из деревень Максимов решил послушать старуху сказительницу, слава о которой шла далеко окрест. Вызвался привести ее бравый мужичок — местный старшина.

— Да только узнай прежде, не спит ли. Ежели что — не буди.

По прежним опытам зная, что бесцеремонное вторжение может только напугать, отбить охоту к общению, писатель несколько раз повторил свою просьбу быть по деликатнее. Но когда старшина привел исполнительницу былин, Максимов понял по ее смиренно забитому виду, что доброхот его остался верен обычаю и поднял ее с постели криком, не дав опомниться, потащил с собой, дабы представить по начальству. На уговоры писателя спеть какую-нибудь из поморских песен старуха не поддавалась, уверяла, что ничего не знает.

— Врет, ваше благородье! Лютая петь! — горячился старшина и зверем взглядывал на сказительницу.

Максимов досадливо нахмурился и попытался урезонить ретивого мужика:

— Ты не пугай ее, а ты, бабушка, не бойся. Я тебе за это денег дам.

— Какие, ваше благородье, деньги? По начальству петь должна. Поет же ведь без денег другой раз! — искренне возмутился старшина.

— Я прошу тебя не мешаться! А ты, бабушка, сядь, обогрейся.

Старуха низко поклонилась, но не села.

— Чайку не хочешь ли?

Последовал еще один низкий поклон, но ни слова в ответ.

— Чашница, ваше благородье. Не станет.

— Напугал тебя старшина-то, бабушка! Чудак ведь он. Я про тебя много слышал, все тебя хвалят. Хотелось бы

твоих песен послушать. Ничего, кроме спасибо, сделать тебе не могу.

Кое-как удалось убедить старуху, что никакого зла «начальник» ей не причинит.

Путешественник записал от нее прекрасные новгородские былины, которых тогда еще не было в других собраниях: про Романа Митриевича млада, про Чурилу Пленковича. Пела сказительница и духовные стихи про Егорья-света Храбра, про сон Матери Марии, исторические песни про Ивана Грозного.

Часто долгие уговоры, увенчивавшиеся было успехом, шли насмарку, как только Максимов доставал карандаш и бумагу. Велико было в простолюдинах недоверие к писаному слову — бог весть куда представит свои донесения «начальник». Даже песни петь страшно. Кемские девки, сидевшие на веслах в почтовом карбасе, охотно голосили по просьбе сочинителя — и свадебные, и «жалостные», и даже плачи кладбищенские. Но увидели в руке его карандаш — разом смолкли. На счастье путешественника, укрывавшегося в обтянутой брезентом каютке, начался отлив, и карбас, не дойдя до берега двух верст, сел на мель. Приходилось дожидаться прибывшей воды несколько часов. Морозящий дождь стал союзником писателя — девки принялись проситься под брезент, где восседал «начальник». И тогда он наложил на них контрибуцию — за право укрытия потребовал по пять песен «с горла».

Иной раз приходилось идти и на хитрость. Если собеседников не удавалось уговорить спеть, Максимов сам заводил песню или расхваливал костромские в противоположность беломорским. Разбудив таким образом местный патриотизм, добивался того, что уязвленный помор тоже выкладывал свои козыри.

Удивляла попутчиков писателя его приверженность к народным байкам и сказаниям, подробностям быта.

Каждому ямщику, каждому хозяину шхуны приходилось растолковывать, зачем гостю из Петербурга нужно знать устройство сетей и судов. Те с недоверием слушали эти объяснения, качали головами.

— Ну стоило же, паря, для экого дела свои кости ломать! Нечего же, гляжу, вам там, в Питере-то, делать. На-ко место какое обвалял! Добро бы уж снаряды, лодки и суда ты там смотрел — это стало, может, так надо. Ну а песни-то тебе на кой черт?

— Да мне, брат, иная песня пуше всяких судов, пуше всех рыболовных снарядов.

— Ну это ты врешь — смеешься!..

— Ей-богу!

— Да чего тебе в песне? Песню, известно, девка поет, потому ей петь надо — работа спорится. Опять же наш брат ямщик песню поет оттого, что пять-шесть на голос поднимет да вытянет — гляди, в мыслях-то его перегон на станции и порешился. Тпру! — приехали, значит. В кабаках песню поют. Опять же, песню эту убогий человек, калика переходящая поет, так тот на песни на эти деньги собирает. Ему это и надо, а тебе-то почто?

— Мне вот эти стариковские-то песни и краше всех, любопытнее.

— Ну да это пушай такие поют, что все либо про духовное, либо про старину — это занятно. Ну а почто их писать-то, почто? Это мне невдомек. Ну да ладно, знать, ты господин, так у тебя и толк-от господский, особенный.

Максимов и сам задавался этим вопросом. Откуда у людей его поколения столь сильный интерес к народной песне? В «москвитянинском» кружке особым почетом пользовались хорошие исполнители — их разыскивали повсюду, не гнушаясь второразрядных трактиров. Верховодил любителями русского пения Третий Филиппов,



сам обладавший превосходным голосом. Отлично играл на гитаре и пел орловские песни Михаил Стахович, ему вторил Павел Якушкин, точно передававший особенности говора, но путавший сложные мотивы. Да и Островский считался недурным певцом, особенно удавались ему романсы.

Соперником Филиппова, однако, не мог считаться никто из московских писателей. Только ярославский приказчик Михаил Ефремович Соболев, разысканный кем-то из «москвитянинцев» в винном погребке Зайцева, был подходящим партнером для Тертя. Когда высокий чистый тенор выводил заунывные деревенские песни, на глаза его слушателей наворачивались слезы. А когда он ударял разудалую «Чарочки по столику похаживают», кое-кто вскакивал с мест и принимался откалывать коленица.

Кабачок Зайцева сделался своего рода клубом любителей пения. Их и всегда-то было немало в купеческой Москве — за каждого дьякона, обладающего хорошим басом, толстосумы готовы были выложить кучу денег, только бы он пел в их приходской церкви. Один из таких меценатов, сделавшихся завсегдатаями погребка, до того восхитился искусством театрального певца Климовского, что тут же за обеденным столом назначил ему пожизненный пенсион.

Увлечение Островского и его кружка русской песней было связано с идейными исканиями славянофилов, еще в начале 1840-х годов поставивших вопрос о русском национальном характере, о самобытности народного духа. Песня воспринималась ими как своего рода звуковая формула внутренней жизни нации. Мелодическая основа отражала строй души, поэтому глубокое изучение музыкального творчества представлялось славянофилам ключом к пониманию национальной философии и судьбы. Петр Киреевский тратил значительные средства на

организацию записей песенного фольклора. Якушкин, один из близких людей Островского, начинал именно как корреспондент Киреевского и сделал значительный вклад в его собрание русских песен.

Позднее песенный источник, по-настоящему открытый славянофилами, питал большую русскую поэзию. Частый гость Островского Лев Мей, служивший инспектором 2-й Московской гимназии и писавший стихи на восточные мотивы, решительно перестроил свою лиру, стал творить в духе и стилистике русской песни. Именно его творческая судьба позволила Максиму сделать обобщение относительно увлечений «москвитянинцев»: в кружке московских друзей привольно было лишь коренным русским людям, побывавший здесь уходил с поднятым челом, уверенною и твердою поступью, как будто он на свое прирожденное звание получил оформленный и засвидетельствованный патент.

В долгие часы безветрия, когда карбас с обвисшими парусами медленно двигался вдоль берега на веслах, Максимов в который раз размышлял о тех основополагающих понятиях, которые обсуждались в московских и петербургских гостиных. Душа народа. Особый путь России. Свобода и рабство. Национальный идеал... Здесь, в дальней стороне, где никогда еще не бывал ни один записной говорун столичных кружков, как нельзя лучше можно было сопоставить теории с живой жизнью.

Там, издалека, народное бытие виделось могучим неразделимым потоком, идущим откуда-то из неведомых глубин времени. А здесь все представлялось иначе. Идеал? Да, он весьма различен у двух мужиков из соседних деревень, хотя и одеты они одинаково, и живут в избах, во всем похожих одна на другую. Но первый — приверженец православной церкви, исправно посещает божий храм, а

другой — пить с ним из общей чашки погнушается, считает его хуже какого-нибудь каинского немца, как здесь норвежцев именуют...

В одном из попутных городков — Кеми — Максиму кивнули на дом местного богача Копылова, «крепкого в истинной вере». Хозяин отпрянул от окна, встретившись взглядом с провожатым писателя.

— Приметы ваши высматривает, чтоб обходить потом и не натолкнуться ненароком.

— А я-то, признаться, поговорить с ним желал. Наслышан уже, что большим авторитетом он у местного народа пользуется. Даже один мужичок на вопрос мой, какой он веры, «копыловской» сказал.

Провожатый посмеялся, но потом, подумав, ответил:

— А что, тут, в Поморье, что ни село, то иной толк. В лесах, среди болот по сю пору скиты укрываются. И в каждом свои святые старцы, к каждому за «окормлением» идут. Немудрено, что разные учения, или, по-иному сказать, согласия, плодятся: поповцы, беспоповцы, бегуны, да разве упомнишь всех...

Староверов Максимов знал с детства. В его родном Кологривском уезде было немало деревень, население которых поголовно обреталось в расколе. В этой среде с благоговейным трепетом повествовали о неких святого жития людях, которые молятся за грешный мир в дальних северных палестинах. Теперь писателю представилась возможность воочию увидеть то, что он знал понаслышке. Одной из первых просьб его к местным властям была: показать раскольничий монастырь на Топозере, незадолго перед тем разоренный воинской командой, направленной по распоряжению высокого начальства.

На десятки верст раскинулось среди карельских болот, среди низкорослой тайги это озеро. Без дорог пробирались туда еще на исходе семнадцатого века «бегствующие чада»

дониконовой церкви. На низменном острове выстроился скит, загороженный от мира крепкими бревенчатыми стенами — в полное подобие монастыря. Богатые старообрядцы Москвы слали сюда немалые средства, чтобы поддержать молящихся за грехи мира. Но и сами обитатели топозерского убежища денно и нощно трудились, чтобы превратить негостеприимный уголок земли в сносное место для жизни. Умудрялись накосить вдоволь сена для коров по каменистым островкам, выращивали овощи и овес. Появились тут и свои поэты, и богомазы. Книги, переписанные в Топозерском скиту, расходились по Руси, составляли усладу поволжских купцов и московских промышленников.

Но на приезд Максимова все здесь смотрело уныло. И закрытая церковь с красными сургучными печатями на дверях, и пустая звонница — колокол сняли и увезли, — и покинутые избы, недавно еще служившие кельями. И затянутые сорняками огороды. Даже вход на кладбище был опечатан. За оградой виднелись поломанные кресты со славянскими надписями. «На тя, Господи, уповахом», — прочел Максимов на одном из них, вывернутом из земли и лежавшем посреди тропы, шедшей среди могил.

Когда путешественник заглянул в избу, служившую прибежищем «большака» — настоятеля скита, — он сразу отметил полное сходство ее с любым поморским жилищем. Тот же крашенный «в шахматы» пол, тот же голубь из лучинок, подвешенный под потолком, те же клеенки на столах. Нет только зеркал и разнокалиберных настенных часов, какими любят украшать дом богатые поморы. Да лубочные картинки по стенам не светского, а духовного содержания, с нравоучительными надписями о том, что сосуды с водой следует покрывать, дабы в них не вселился бес, с объяснением значения частей матерчатых четок — лестовок. На иных картинах изо-

бражались молящийся старообрядец, которого смущает дьявол, аллегорические образы человеческих возрастов, грехов и добродетелей. Главным же украшением горницы были портреты бывших настоятелей — «большаков», писанные масляными красками. Висели они без рам и чем-то неуловимо походили один на другой, но — с уверенностью заключил Максимов — явно не походили на тех, кого изображали.

Подойдя к посудному шкафчику, также обязательному предмету обстановки поморской избы, он увидел чашки из дешевого фарфора, помеченные странными значками. Провожатый принялся объяснять:

— Эти нарезки для того, чтоб не спутать. Ежели одна — это для истинно верующих, то бишь федосеевцев. Такую посуду чистой именуют. Ежели две нарезки — новоженская, для тех, кто недавно к федосеевщине примкнул. А ежели три метки — миршона, или попросту поганая, для нас с вами, табакопийц и блудного зелья — чаю — вкусителей.

Максимов покачал головой, но вполне миролюбиво сказал:

— Нетерпимость — конечно, дело малопочтенное, однако...

— Э-э, да вы все ищете, как бы оправдать их, все рациональное зерно отыскать стараетесь. А я по-человечески ихней гордыни принять не могу. Посудите сами, ведь они нас просто-таки погаными считают. Мне доводилось одолжаться стаканами: он морщится, упирается, не дает. Прикрикнешь — уступит да на твоих же глазах и разобьет о камень. Ему уже такая посуда не годится. Он не жалеет, хоть помнит, что стекло в здешних местах — товар редкий и дорогой. У богатых мужиков, как здесь, на тот конец держится в особом поставце уже такая особенная, которая и носит свое имя — миршоны. У бедных из такой посуды

и люди пьют, и собаки лакают. Кажется, ее никогда и не моют.

— Но и православные не отстают. Сколько прозвищ они для староверов выдумали. И чашниками зовут, и невесть какие ужасы про них рассказывают: что дом, то содом; что двор, то гомор; что улица, то блудница.

— Так ведь не нами сие учинено. Раскольники первые принялись про православный народ байки сочинять. Кто нюхает табаки, тот брат собаке. Клеймо на гирях и весах — печать антихристова. Да вы сами, чай, наслушались таких мудрословий...

— Все это верно. Но ведь — я опять хочу к мысли своей возвратиться, — но ведь именно этими фанатиками ложной веры оживлялись пустыни и заброшенные страны, заселялись такие острова, которые всем казались ненужными и неудобными. А вы приходите и зорите обжитые места.

— Если говорить по-вашему, то и впрямь выйдет на то, что жили иные там, весьма догадливые. Дорогу ко спасению торили с запасом от доброхотных подаяний. Ограждались от скуки пустынного жития здоровыми женками. Они им помогали поклоны считать. Надо разговаривать и по-другому. Зачем они ребят, от греха рожденных, топили? Зачем не поднимали их на ноги, не учили их грамоте, хоть бы и своей? А они проклятым делом — за ножки да в воду. Исправник к ним когда приедет, чем пугал их, когда деньги хотел собрать? «Бросьте-ка, — говорит, — неводок, мне вашей рыбки захотелось, не попадетсЯ ли кумжа, хороша она вареная с хреном, я люблю ее». Они ему в ноги, начнут плакаться, затрусят: не ровен час, ребеночка сети вытащат...

— Вы говорите с чужих слов. О каком монастыре на Руси таких небылиц не рассказывают! Людям свойственно приписывать другим худое, в святость куда труднее по-

верить. Греховность кажется естественной, а чистота — противной природе.

Куда бы ни заносила его судьба — на дорогах центральных губерний, на постоянных дворах, в поморских избах Максимов не раз убеждался, что в душе мужика мирно соседствуют представления о праведной жизни неких лесных старцев, или «преждебывых» божьих людей, и неуважительное отношение к тем служителям Бога, которых он видит ежедневно. Священник — жрец казенной религии — как бы отделяется от нее, воспринимается как неизбежное зло. Чего же можно было требовать от разделенных религиозными несогласиями обитателей Беломорья?

Путешествие по Северу впервые глубоко приобщило Максимова к миру ересей, толков, сект и согласий. Пестрота верований отражала разномыслие, разброд, царившие в народе. Здесь, вдали от центров государственной и духовной власти, религиозное творчество расцветало так буйно, что приверженность преданиям отцов, столь любезная славянофилам, казалась сомнительной. Не отражает ли это брожение совсем иные начала? Здесь, на Севере он впервые поставит для себя эти вопросы. А ответ станет искать по всему пространству земли Русской...

Призрачный свет лился в гостиничную келью сквозь высокое узкое окно. Белая ночь гасила все краски, смазывала полутона, архитектурные детали. Молчаливыми утесами громоздились одна над другой главы церквей, колокольни и черепичные кровли башен Соловецкого монастыря.

Максимов присел к маленькому столику, раскрыл дневник, отвинтил пробку чернильницы и стал писать мелким каллиграфическим почерком: «Сию минуту ушел от меня какой-то допотопный варвар, инвалидный офицер в пьяном виде, сменивший своего предместника, который,

по его словам, завтра должен был сесть на карбас и ехать в Архангельск. Много говорил он мне всякого вздору: говорил, что если он архангельский, а я костромской, то мы земляки; что солдат солдату брат, офицер офицеру тоже. Чудак принял меня за ревизора и никак не хотел верить, что я прислан от Морского министерства, а не от Министерства государственных имуществ и что приехал я не землю межевать... Хорош бы этакой-то гусь явился к настоящему ревизору. И пришла же блажь для первого знакомства с монахами нализаться до сплетения языка и немощи... И вот — темная, дальняя, скучная, бесталанная сторона и безвыходная уездная жизнь: вся из однообразия, грязи, плесени и неизлечимых наростов, получивших каменистое свойство и характер гнилого чирья, переставшего уже ныть и болеть. Сердце мучится сомнением, неведением будущего, и не смеешь смеяться, и больно и стыдно за виноватого, пойманного с поличным».

Где он? Что он? Зачем забрался в эту даль? Мыслящий Петербург занят вопросами переустройства русской жизни, все говорят только о будущем. А он оказался в стороне от умственного брожения, погрузился в мир тысячелетней дремы, диких суеверий, темных преданий. Не произойдет ли там, в столице, что-то главное в его отсутствие?

Тягостные мысли эти, порожденные физическим ощущением своей затерянности в малонаселенных просторах, не раз еще посетят его в течение долгого года странствий по Северу. Но всякий раз будут отступать, когда откроется величественный пейзаж, или явится на горизонте новое селение, или просто глянет из-за свинцовых туч заблудившееся солнце...

Соловецкий монастырь потрясал своими гигантскими постройками. Стены, сложенные из неотесанных валунов, башни, похожие на богатырские шеломы. Какое упорство нужно было строителям, какую веру надо было



иметь в то, что следующие поколения доведут до конца эту циклопическую работу. Как часто Руси недоставало такой убежденности в прочности замысла. Не потому ли так предан народ традициям, так ревниво блюдет нерушимость обряда?

Да и сам писатель, избравший делом жизни своей изучение народного быта, ищет в нем ответ на вопросы, связанные с будущим. И кажется ему: мироотношение нации меняется с течением времени только по внешности, а коренные черты его остаются неизменными.

Размышления о вечном и временном были прерваны картиной разорения, представшей перед глазами Максимова. За белокаменной стеной одного из храмов торчали обугленные стропила. Проходивший послушник объяснил, что это следы английской бомбардировки. А настоятель, отец Александр, принявший писателя, рассказал подробности нападения британского флота летом 1854 года.

Военно-морская блокада русских берегов началась после того, как Англия и Франция вступили в войну на стороне Турции. Максимов помнил, как на площадях столицы было зачитано объявление о разрыве дипломатических отношений с западными державами, как воинственно шумела печать. А когда в виду Кронштадта вырос лес неприятельских мачт, когда пришли вести о штурме камчатского Петропавловска, о нападении на Колу, о высадке союзного десанта в Крыму, у всех появилось ощущение, что империя Российская при всей ее обширности все же уязвима и что у британцев сил тоже немало. Теперь, оказавшись в беломорских пределах, писатель смог представить себе, что ощущали жители этих мест, безобидные монахи, увидев на горизонте десятки дымных султанов от пароходных труб, услышав гул морской артиллерии. Рассказ архимандрита позволил живо представить, что

творилось в обители, когда на крышах и куполах церковей начали разрываться ядра, когда едкий пороховой дым застилал окрестность.

Потом Максимов увидел следы нападений англичан и в других местах Беломорья, наслушался сетований поморов на то, что за два года морской блокады, когда они не могли «обряжать покруты», то есть уходить на дальние промыслы, нужда постучалась в каждый дом. В трудную пору не нашлось, однако, никого, кто пошел бы на сотрудничество с врагом. Архимандрит, отказавшийся продать баранов англичанам, и мужики, с разномастными винтовками и дробовиками высыпающие навстречу непрошеным гостям, поступали так не потому, что им дали какие-то указания высшие власти. Они действовали по душевному побуждению, и тут опять-таки угадывался национальный образ поведения. Много раз отмечал Максимов черты различия в быту, в житейских воззрениях северянина и мужика коренных российских губерний. Но когда задумывался, а как поступил бы тот и другой в одинаковых условиях, то приходил к выводу — в главном русский человек везде остается верен голосу крови.

Словоохотливый отец Александр долго рассказывал о своих переговорах с англичанами, о стойкости братии, водил гостя по обители, показал все разрушения, вплоть до мельчайших, а затем потчевал писателя обильным монастырским обедом.

Тут-то и вспомнилась ему просьба отца разузнать о судьбе судиславского купца Папулина, по слухам, заключенного в Соловках. И Максимов спросил о нем у добродушного архимандрита.

Настоятель разом посуровел и непреклонным тоном отвечал, что допустить в монастырскую тюрьму не может. Несмотря на то что в официальных бумагах, предъявленных Максимовым, содержалась просьба оказывать

путешественнику всяческое содействие. О знакомце отца пришлось выведывать стороной — у монаха-возницы, доставившего писателя в Анзерский скит, находившийся в отдалении от моря, у капитана инвалидной команды, охранявшей тюрьму.

Подвыпивший страж заявился как-то вечером в номер монастырской гостиницы, где жил Максимов, и, понизив голос, подозрительно оглядывая все углы, заговорил:

— Вы давеча спрашивали о вашем земляке. Определенно сказать затрудняюсь: ни имен, ни фамилий здесь нет, я знаю только нумера. Вот и тот, похожий по вашим приметам, сидит под номером тринадцатым, как раз под чертовой дюжиной... Удивляетесь, что озираюсь поминутно?.. Напрасно. Здесь стены слышат — вот какое строгое место!.. А земляк ваш — добрый старик и ласковый. Да вот какой добрый: когда ни придешь, он всякий раз начинает около себя обыскиваться, шарит на столе, заглядывает под кровать. «Подарил бы, — говорит, — что, да взять нечего — все отняли».

Офицер резко умолк, приподняв над ухом настороженный палец. Подкрался к двери и рывком распахнул ее.

Выглянул в темный коридор и с успокоенным видом вернулся в номер.

— Как будто никого... Так вот, о наших сидельцах. Доводят их до беды, потому что исправляют. Я готов в рапорт написать, что нельзя доверять монахам таких людей, которые с ними ссорились прежде, там... Помилуйте, я — офицер, а к архимандриту каждое утро должен ходить, как к генералу или коменданту, вытягиваться и рапортовать. Он выслушает, а чашки чаю не даст — гордится предо мною.

Речь хмельного офицера была довольно бессвязной. Он то принимался ругать монастырское начальство, то выпрашивал у Максимова выпивку, то начинал хвалиться

неподкупностью. Но тем не менее из этого словесного потока писатель смог составить представление о житье Папулина, по большей части сидевшего над старопечатными книгами в узком каменном мешке с сырыми стенами.

— Кроткому человеку архимандрит попускает — дает книги, а зимой выпускает с солдатом в старый собор помолиться. Конечно, это дело его. Он здесь полный хозяин, на комендантских правах. Но без солдата и ему я не могу позволить. Положим, что льды обкладывают монастырь так, что не вырвешься. Да здесь держи ухо востро. Вдруг он скрылся; может быть, с берега прибыл его сообщник. Остров-то очень велик, есть, где спрятаться. Выждал время, посадил в карбас и увез — здешний народ льдов не боится. Да, по-моему, лучше морская пучина, чем эти чуланы. Я к тому это говорю, что из богомольцев много народу припрашивалось повидаться с ним, давали мне хорошие деньги. Я не соглашался — я помню присягу...

Хоть и не пустили гостя из Петербурга в монастырские казематы, он сумел кое-что выпросить об узниках. Большинство из них содержались за религиозное разномыслие. Разно — с официальной религией, православием. Все раскольничьи толки, все ереси, за которые присылали сюда, не выходили из рамок христианского вероучения, но суровость наказаний наводила на мысль о каких-то смертных грехах. И это в стране, где свободно отправляли свои культы миллионы мусульман, иудеев и католиков, где в высших сферах было полно лютеран...

Смута воцарилась в душе писателя. Он видел и примеры великого самопожертвования, патриотизма и тут же рядом — гонительства и несправедливости. Одни и те же люди проявляли единение перед лицом внешнего врага, перед грозной морской стихией и ощеривались друг против друга, оказывались неспособны к взаимопониманию. Что, если бы вдруг отпали любые ограничения в свободе

совести и никому не стало бы дела до чужих убеждений? Может быть, все наши непорядки от того, что мы нагородили в собственном отечестве бесчисленные версты заборов и шлагбаумов, приставили к каждому из них будочника? Да что там — на каждого человека найдется соглядатай, если еще не сам он на себя доносить побежит, коли грешная мысль его посетит.

Сегодня слышны призывы к обновлению, к освобождению от скверны чиновничества и взяточничества. И духовное бытие народа должно обновиться, считал Максимов. Пора распрощаться с мертвыми догматами, давящими живую жизнь. Надо вспомнить, что в нашей истории не всегда было серое единообразие, не всегда господствовали покорность и рабская боязнь свободного слова. Ведь в этих самых краях кипела вечевая вольность, насажденная Господином Великим Новгородом. Именно свободные граждане его за исторически короткий срок освоили северные просторы.

Да что древность ворошить, размышлял Максимов. Всего несколько десятилетий отделяют нас от начала века, когда русская жизнь, русская культура пережили пору расцвета. Повяло ветром свободы, молодой царь заговорил о конституции. А потом — казарма, шпицрутены, крикливая демагогия, расправа с идеей. Достанет ли у нас сил разогнуться после десятилетий деспотизма? Или опять, как прежде бывало: поклубится туман псевдолиберальных фраз, новый государь потеряет вкус к реформам, займется мировой политикой, а будочники опустят шлагбаумы и захрапят в сонной тишине?..

Такие мысли не раз приходили писателю за время его странствий по Северу. Ибо весь огромный край был наполнен воспоминаниями о знаменитых узниках да и встречи со ссыльными в отдаленных селах не давали забыть о недавних преследованиях за убеждения.

Какой бы монастырь ни встречался на пути Максимова, с ним обязательно была связана история заточения крупного исторического лица. Что ни город — то трагическая судьба.

В Пустозерске, на самом краю земли, у Ледовитого океана, окончил свои дни многмятежный протопоп Аввакум. Сожгли его в деревянном срубе, и могилы не осталось.

В Каргополе Ивана Болотникова утопили.

В Холмогорах чуть не сорок лет продержали в заточении «брауншвейгское семейство» — бывшую правительницу Российской империи Анну Леопольдовну с мужем и малолетними детьми. Несчастливая женщина, правда, быстро Богу душу отдала, а вот две дочери ее выносливее оказались и дожили до того дня, когда были по высочайшему повелению отправлены в Данию.

Антониев-Сийский монастырь видел насильственное пострижение под именем Филарета Федора Никитича Романова, отца Михаила, родоначальника правящей династии. Отправил его туда царь Борис Годунов, опасавшийся популярного в народе боярина как претендента на престол.

В Никольском Корельском монастыре неподалеку от Архангельска уморили новгородского архиепископа Феодосия, противника Феофана Прокоповича, клеветы Екатерины I.

Красногорский монастырь на реке Пинеге стал местом последнего упокоения князя Василия Васильевича Голицына, могущественного фаворита царевны Софьи, сосланного на Север Петром I.

Тревожная память прошлого отразилась в преданиях, которые Максимов в изобилии записывал чуть не в каждом селении Поморья. О нашествиях «мурманов» — норвежцев, грабивших русские берега еще со времен

новгородских. О Смуте, когда многочисленные шайки «воров» и «литовских людей» наводили страх на жителей сел и городов. О Петре Великом, единственном из русских царей, посетившем Север. Здесь строил он первые свои верфи, здесь до обретения Россией устья Невы завел большую торговлю с Европой.

Сам воздух Севера, казалось Максимову, пронизан историческими воспоминаниями. Все здесь напоминало Древнюю Русь: и огромные крестьянские избы, украшенные затейливой резьбой — языческими птицами, оленями, конями, — и шатровые деревянные церкви, каких мало уже оставалось в центральных губерниях, и огромные обетные кресты, покрытые славянской вязью, которыми были уставлены берега моря.

В своих раздумьях о судьбе отечества в переломную эпоху писатель не мог обойти того опыта, который отразился в представлениях народа о прошлом. Он вслушивался в предания и песни, чтобы понять, что ценит русский человек, чего ждет от жизни, о чем молится...

Максимов приглядывался к бытовым мелочам, зарисовывал устройство поморских компасов — маток, оригинального изобретения, позволившего смелым мореходам еще задолго до Ермака пройти вдоль ледовитых побережий далеко за Урал и основать поселения в устьях великих рек Сибири. Своеобразная одежда, росписи прялок, поделки из дерева и моржовой кости — все это тоже находило отражение в его дневнике.

Но, может быть, главной страстью путешественника была охота за словом — он бережно записывал сотни мореходных терминов, образные обозначения природных стихий и ландшафтов, яркие определения человеческих черт. Длинные диалоги выстраивались на страницах отчета, который он собирался представить Морскому министерству.

Много старины убереглось в быту и языке поморов. Хотя в сравнении с жителями средней России они гораздо больше были связаны с иноземцами, видели иные обычаи и формы жизни. Постоянно бывали в «Норвеге», возили оттуда добрый ром и фарфор. Этим контрабандным товаром можно было разжиться в любом беломорском селении. Да и лесные концессионеры из иностранцев, европейские моряки в торговых портах и на причалах лесобирж давно сделались обычным явлением. Архангелогородцы даже некоторые английские и немецкие слова приспособили для повседневного обихода. Но за свое здесь держались крепче, чем где-либо. Не оттого ли, что в северянах было развито чувство собственного достоинства?

Когда Максимов появлялся в очередном селении, мужики смело протягивали мозолистую длань для рукопожатия и хотя не спешили вывернуть душу, но и большой робости — коли не раскольники то были — перед баринном не выказывали. Главной причиной этого Максимов посчитал отсутствие крепостнических отношений. Но и относительный недостаток тоже способствовал «гордой» манере держаться. Морская нива давала любому шанс разбогатеть, у справных непьющих работников и дом смотрелся настоящей крепостью, и скарб домашний говорил о довольстве. На столе у жителя Беломорья можно было увидеть не только обычные для этого края лакомства вроде семги, но и экзотические лимоны, заморские вина. А почти всеобщая грамотность поморов дополняла представление о высокой бытовой культуре.

Край, уберегший свою древнюю культуру, далеко ушедший от коренной Руси по уровню жизни, сохранивший развитое чувство справедливости и личного достоинства человека, — таким виделся он Максиму после нескольких месяцев странствия.



В то лето Максимов проделал путь по всей окружности Белого моря, пересек пешком Лапландский (Кольский) полуостров и добрался до обгорелых развалин Колы, еще не оправившейся после бомбардировки 1854 года. Но нигде он не чувствовал никакого оживления, никто из местных чиновников и грамотеев не заговаривал о переменах. Даже Архангельск, куда писатель возвратился в сентябре, совсем не был захвачен той атмосферой ожидания нового, которая царила в Петербурге.

Архангельское общество было занято Воздвиженской ярмаркой. Облачившись в рединготы и цилиндры, господа чинно прогуливались по торговым рядам, созерцая груды соленой трески, пробуя малосольную семгу, прицениваясь к говяжьим тушам. Шла заготовка припасов на зиму, на языке у каждого уже был вкус тушеной тресочки с картофелем и сметаной — любимого блюда всех горожан, от сирого до богатого. Кто посостоятельней, брал провизию возами — еще до Рождественского поста заведутся балы с неизбежными ужинами, да и попросту, ради карт собравшись, не преминут плотно перекусить господа купцы и государю служащие.

Как и по всей Руси, провинциальное общество жило прежде всего заботами по устройению быта, самым большим благом почитая веселье. Именно оно составляло главную цель и интерес жизни для старых и молодых. На балах в Дворянском собрании, в Немецком клубе, у губернатора протолкаться нельзя было сквозь плотную толпу. Даже «ветхие деньми» приползали поглазеть, как отплясывают кадрили и гросфатер, перекинуться в штос, посплетничать. О литературе, о политике не говорили.

Максимова, впрочем, с почетом принимали. Имя его знали, ибо он был постоянным автором «Библиотеки для чтения», единственного толстого журнала, проникавшего в провинцию и ею излюбленного — опять же за легкость и

веселость. К тому же высокое покровительство великого князя Константина Николаевича (об этом быстро прознали в губернском свете) сообщало молодому литератору особую привлекательность. Узнав, что он холост, его стали усиленно приглашать в дома, изобильные невестами.

7 октября Максимову исполнилось двадцать пять лет. Он сказал об этом только нескольким симпатичным ему людям, которых хотел пригласить на дружеский обед в ресторации. Но о юбилее прознали в обществе, и с утра в день рождения ему пришлось принимать в номере корзины с цветами, куда были вложены визитные карточки, и более земные знаки внимания — в виде огромных сему-жых поленьев, берестяных туесов с отборными рыжиками и брусникой. Кто-то из доброхотов даже сахарной головой «поклонился» — совсем на гоголевский манер.

Чтобы истребить все это богатство, понадобился не один вечер, благо расторопный ресторатор взял на себя труд привести снедь в надлежащий вид. Когда Максимов созерцал накрытый стол, его так и подмывало продекла-мировать державинскую «Жизнь званскую».

Больше месяца поглотила круговерть «изящного» времяпровождения, но наконец пришли холода, установился санный путь, и Максимов смог продолжить свое путешествие по губернии. На этот раз он ехал на восток, к Печоре.

На узкой таежной дороге уже не было почтовых станций с самоваром и теплой лежанкой. В убогих курных избах, называемых кушнями, путешественник мог обогреться, укрыться от непогоды, если бы, конечно, сумел вытерпеть едкий дым, наполнявший грязную избушку.

Кое-как сбитые из крестьянских лошадей тройки везли худо, пристяжные то и дело кидались в стороны, кибитка опрокидывалась в снег и подолгу тащилась на боку, пока ямщик, восседавший на кореннике, расслышит глухие

вопли о помощи. Соскочит он с лошади, рывком поставит сани на полозья и почешет в затылке.

— Со всеми, почесть, начальниками вот эдак-то!

— Да вы по-дурачки ездите: вместо облучка садитесь на переднюю лошадь. Нигде ведь так-то не ездят!

— Все так бают, да вот поди ты...

— Садись на облучок!

— Несвычно — лошади опять заматаются. Ну, ин ладно!

Когда по возвращении в Петербург Максимов расскажет Ивану Горбунову об этом вознице, тот придет в восторг, а через некоторое время прочтет ему свою сценку «На почтовой станции» — ямщик, вываливший седока, сокрушается: «Поди ж ты! Кажинный раз на этом месте...» И пойдет гулять по театральным подмосткам эта фраза, подхватят ее в ярмарочных балаганах и райках, станет она крылатым словом в речах и писаниях журналистов...

Но пока Максимов на чем свет стоит клянет и этого бестолкового ямщика, и рытвины, и шапки снега, обрушивающиеся на возок с еловых лап, нависших над дорогой. Даже северное сияние, полыхающее в вышине, не радует его. Некогда голову закинуть, чтобы предаться умиротворенному созерцанию феерии небесных огней, надо крепко держаться за края кибитки да глядеть за обочиной.

Потом, правда, он и об этом способе передвижения вспомнит как о вполне сносном, когда будет трястись на оленьих нартах в большеземельской тундре. На огромных кочках, прикрытых снегом, длинные легкие санки кидает так, что полулежачий ездок должен судорожно цепляться за деревянные бортики да еще следить, чтобы не задиралась малица на коленях, не допускала лютый холод пробираться к телу.

Первую передышку по дороге в Пустозерск Максимов сделал в Усть-Цыльме, большом селе на берегу Печоры. Население его, почти сплошь староверческое, с большой опаской встретило приезжего. У дома, где он остановился, постоянно толпились мужики, но стоило писателю появиться на крыльце, как печорцы отступали в стороны, и никакими уговорами нельзя было заставить их войти в избу для беседы.

Только ссыльный грузинский князь Евсей Осипович Палавандов, проживший в Усть-Цыльме несколько десятилетий, помог Максиму в исполнении его миссии. Извещенный о приезде писателя указом губернского правления, Палавандов, исправлявший обязанности лесничего, задолго приготовился к приему гостя. Разыскал хорошую песельницу, уговорил женщину, знающую свадебный обряд, описать его весь по порядку.

Печорцы нежно любили этого добрейшего человека, монаршею волею заброшенного сюда за участие в заговоре грузинских царевичей. Его считали праведником, слову его верили беспрекословно. Он стал для дальней стороны своего рода высшим нравственным авторитетом — и повздоривших рассудит, и слабого защитит, и неимущему поможет.

Несколько дней, проведенных с князем, вознаградили за тысячеверстный путь через заснеженную тайгу. Евсей Осипович оказался не только человеком замечательных душевных качеств. Но был он еще и кладезем воспоминаний о Пушкине, Грибоедове, Бестужева-Марлинском. Всех их он знал в бытность их в Тифлисе. Принадлежность к грузинской аристократии делала его вхожим в дома высших сановников, представлявших русскую администрацию на Кавказе. Рассказы усть-цылемского лесничего о прошлом тоже нашли место в дневнике путешественника. А благодарная память три десятилетия

спустя надиктовала Максимову большой очерк о печорском князе, когда по цензурным условиям стала возможна такая публикация.

Палавандов убедил-таки нескольких усть-цылемов побеседовать с гостем из Петербурга. Мужики пришли на отводную квартиру, где ждал их Максимов. Но разговор свелся к жалобам на дурную погоду; поверить, что приезжий вовсе не соглаadataем к ним пожаловал, а всего лишь быт их изучает, печорцы так и не смогли. Даже рассказать о способах лова рыбы они долго не решались. Наконец самый бойкий из крестьян переспросил:

— Кто ловит? Мы-то?

— Да.

— То-ись?..

— Какую рыбу ловите, чем и когда?

— Рыбу-то ловим?

— Да.

— Всякую рыбу ловим.

Последовало долгое и мучительное молчание. Максимов повторил вопрос:

— Какую же именно, какой сорт?

— Рыбу мы ловим такую, какую нам бог пришлет, а река принесет. Такую-то вот мы рыбку и ловим.

— А каким образом ловите?

— Ловим мы рыбу снастями: сети такие живут...

— Какие же это сети?

— А всякие бывают.

— А именно?

— Чего?

— Какие же сети-то бывают, как называются?

— Чего называются?

— Сети-то.

— Сети-то?

— Да.

— А вот хоть бы, к примеру, гарва.

— Слава богу! Это что же такое?

— А гарва — сеть, значит, такая...

— Ну дальше.

— Чего дальше?

За минувшие месяцы странствий Максимов научился терпению, показная bestолковость крестьян не вводила его теперь в заблуждение. Ведя долгие беседы с ними, он мало-помалу вытягивал из них то, что его интересовало. Для этнографа, понял он, главное — научиться брать своих собеседников измором.

Осторожные мужики тоже смекали: готовность Максимова выслушивать их часами, не показывая вида, что он понимает, как его дурачат, напускная.

— Хитер ты, ваше благородье, шибко хитер, — сощурился помор. — Сколько лет живу, а такого начальника не видывал. Первое диво: борода. Отродясь к нам бородатые чиновники не езживали. Кривить душой не стану — уважил ты нас, кто по старой-то вере живет. И обхождение-то твое ласковое нам любо. А все же сумление берет: а ну как настрочишь в Питербурх, как мы тут не по-таковскому бытье свое правим...

— Да что же в вас не по-таковскому?

— Опять правда твоя — в боге живем, христианских душ не губим... Ну ин ладно: спрашивай — все, как есть, обскажу...

Послушав, к каким хитростям приходилось прибегать Максиму, чтобы записать песню или обряд, Евсевий Осипович грустно улыбнулся.

— Я полюбил этих людей. Они чисты, как дети, по природе добры и приветливы. Не их вина, что приходится обучаться умению скрывать свои мысли... Если б русский человек мог, не таясь, говорить, что думает! Ведь это умнейший народ, чуть не поголовно все талантливы...

Нет-нет, не думайте, что я в увлечении говорю. Я на Севере больше двух десятков лет прожил.

Когда Максимов сажился в сани, чтобы отправиться в дальнейший путь по Печоре, прибежал слуга князя и сунул ему мешок. «Добрейший грузин верен себе, — подумал путешественник, — наверняка прислал что-то съестное на дорогу». Но, когда на первом привале заглянул в мешок, обнаружил в нем теплый плащ из гагачьих шкур, очень красивый и практичный, он имел неосторожность похвалить диковинную вещь, увидев ее в доме Палавандова.

— За великую его доброту возлюбили его, — объясняли благоговейное отношение к князю на Печоре. — За святого почитаем.

Выше всего поставил народ русский это качество — доброту. И в старых книгах, в житиях встречал Максимов образы людей, главным подвигом которых современники сочли делание добра. Не воинские заслуги, не благочестие, не дар вдохновенного слова. Такое предпочтение характеризует и душевный строй нации, ее нравственные ценности.

Максимов представил себе невысокую фигуру князя в архалуке, его живые черные глаза. Как смотрелся бы он в кругу Островского? Белокурые, голубоглазые, щеголяющие красными рубахами и сафьяновыми сапожками. И — большой нос с горбинкой, черные, хотя и с изрядной проседью волосы. Наконец, этот кавказский наряд. Трудно было вообразить большее несходство национальных типов. И какая близость духовная! Евсевия Осиповича, несомненно, приняли бы в Москве с распростертыми объятиями, полюбили бы так же сильно, как здешние дети природы.

Максимов был признателен князю не только за помощь, он благодарил его за ту светлую радость, которая надолго поселилась в душе, согревала в бескрайних снежных

пустынях. Оставили молодого писателя томление и скука, он и других — захолустных чиновников — подбадривал:

— Милостивый государь, да ведь скука-то в нас самих гнездится. Разве окружающая действительность так уж печальна? Взгляните на природу: эти великие реки, эти могучие боры, даже тундра ваша — бесконечный простор, от которого грудь полнится отвагой и волей! А северные сияния, потрясающие душу божественной красотой! вспомните, как земляк ваш Михайла Ломоносов писал:

С полных стран встает заря!  
Не солнце ль ставит там свой трон?  
Не льдисты ль мещут огонь моря?  
Се хладный пламень нас покрыл!  
Се в ночь на землю день вступил!

— Вольно вам, в Петербург-то едучи, ликовать, — ворчал уездный Печорин. — А нам-то как прикажете среди мужичья, среди неделикатного обращения существовать? Заневолю в минор впадешь...

— Ах, оставьте, — горячился Максимов. — Зачем же в минор, где вы минор усмотрели?! Да народ-то ваш — сколько среди него истинной веселости. Всегда непринужденная, бойкая речь, знание присловий и пословиц, умение вклеить их в разговор к стати и у места, простая, но меткая и безобидная шутка над всяким поповшимся под руку своим братом, а пожалуй, и чужим, проходим человеком, лишь только было бы весело самому шутнику и всем, его окружающим. Это едва ли не одна из главных характеристических особенностей нашего народа, неудержимо веселого на радостях, не унывающего в горе и неспособного пасть глубоко перед несчастьями, какого бы рода ни были они. Ломало народ наш всякое горе, ломает оно и теперь подчас крепко, больно, а все же в нем еще



много сил, и хватит их на столько, чтобы быть поистине великим народом.

Уносились назад, терялись в снежной замяти Мезень, Пинега, большие села со стройными деревянными храмами, бедные городки, древние монастыри. А на душе у путника все звучала бодрая, светлая мелодия. Он вез в столицу не только дневники и северные трофеи — моржовые клыки, голубя из лучины, древние рукописи и удивительную книгу из бересты. Он ехал с новым знанием о своем народе, о его великом прошлом. И новым, как думалось ему, знанием о будущих судьбах России.

В начале февраля 1857 года он оставил Холмогоры, последний уездный город Архангельской губернии. Позади были четыре тысячи верст — по морям, по рекам, по топким гатям и завьюженным дорогам. Позади остался год его жизни.

Снова мелькали трехцветные верстовые столбы, снова гремел колокольчик почтовой тройки. Летели обочь каменные церкви, пожарные каланчи, кабаки, означенные порыжелой еловой лапой. Проносились шумные свадебные поезда — десятки троек, украшенных лентами и цветными шалями. Каждое село приветствовало и провожало путешественника треньканьем балалаек — толпы нарядных парней и девок плясали, пели, славили Масленицу.

## ХОДЕБЩИКИ

**В**есна 1858 года выдалась затяжная, по временам казалось, что зима снова возвращается. Тогда в мансарде, которую занимал Максимов, становилось холодно — хозяйка доходного дома распорядилась топить «полегче». Писатель закутывался в гагачий плащ, подарок Палавандова, натягивал оленьи пимы, привезенные из Пустозерска, и целыми днями просиживал над рукописью, приводя в порядок северные впечатления.

Одни отрывки из задуманной книги он уже успел напечатать в «Морском сборнике», другие — не относящиеся к быту поморов — пообещал в «Библиотеку для чтения». По мере писания прояснялось, что «Год на Севере» — такое название дал Максимов своему сочинению — обещает быть огромным, едва ли одним томом обойтись удастся.

За год, прошедший после возвращения из Архангельской губернии, он сделал немало. Но часто корил себя за то, что мог бы написать гораздо больше. Слишком много времени отдавал спорам, слушал публичные выступления, да и чтение съедало каждую свободную минуту. Хотелось изучить все журналы от корки до корки. «Русский вестник» печатал «Губернские очерки» Щедрина — и столица упивалась ими. В «Современнике» шли статьи, одна забористее другой. Даже старушка «Библиотека для чтения»

и та дерзала публиковать материалы, за которые еще три года назад можно было угодить в крепость. В декабре все газеты напечатали царский рескрипт об образовании в западных губерниях дворянских комитетов для разработки проектов крестьянской реформы. Об эмансипации — так окрестили готовящиеся меры по освобождению крепостных — заговорили во всех гостиных, в книжных магазинах Базунова, Исакова и Кожанчикова, где собиралась разночинная молодежь.

Большинство были в восторге от совершающихся перемен. Статьи Чернышевского казались благовествованием новой, свободной жизни. Максимов с жадностью читал напечатанные в февральской и мартовской книжках «Современника» за 1858 год статьи Добролюбова «О степени участия народности в развитии русской литературы» и «Деревенская жизнь помещика в старые годы». Многие высказанные в них мысли казались ему его собственными — не о том ли размышлял и он в долгие месяцы странствий по деревенской Руси?

Правда, кое-что в статьях публицистов представлялось Максиму излишне резким. Он вообще не любил иступленности ни в чем, по самому свойству своего характера всегда стремился всех примирять и утихомиривать буйствующих.

Когда в библиотеке иностранных книг при магазине Исакова разгорелся спор между пожилым благообразным господином в смокинге и несколькими длинноволосыми молодыми людьми в синих и дымчатых очках, недавно вошедших в моду, Максимов поспешил вмешаться в спор, дабы унять страсти. Бывший с ним Василий Курочкин удержал его за полу.

— Не лезь, Сергей, пусть их ругаются. Ты ведь сам рассказывал, что любил глядеть в детстве петушинные бои. Да и травлю собак у Рогожской заставы на Москве посещал.

Чего ж теперь елей на бушующее море льешь? Пушай рвут друг другу загривки.

— А кто этот господин?

— Академик Никитенко. А вон тот, приземистый, с короткими толстыми ляжками, с квадратной головой и фельдфебельскими усами — Гришка Благодетель, из семинаристов. Ох, лют! Он и кулачищем двинуть может — погляди, какие у него кувалды. Представь себе, этот-то громила в Мариинском институте благородных девиц словесность преподавал. Тем прославился, что сам покойный император его от службы отставить велел.

— Нет, Базиль, позволь я все же разведу их. Вспомни, до чего дело в Москве дошло, когда Шевырев с Бобринским схватились.

Куручкин только прыснул при напоминании об этой истории. В самом деле, такого еще не бывало: профессор Московского университета и московский аристократ, граф тузили друг друга в патриархальной допетровской манере — кулаками, пинками, оплеухами. Вот до чего идейные несогласия довели.

Никитенко тем временем нервно восклицал, размахивая номером «Современника»:

— Да кто же говорит против критики, господа? Мы столько лет задыхались без нее, мы все рукоплещем переменам. Но позвольте... эти выступления «Современника» — они шокируют крайней смелостью и парадоксальностью своих стремлений... После всего испытанного нашим обществом в недавнем прошлом протест и оппозиция — явления неизбежные. Мало того, они — необходимые элементы общественной и государственной жизни, которая без них теряет равновесие, застаивается и глохнет. И потому протестуйте, господа, это ваше право и даже долг, но пусть протест ваш покоится на прочных началах разума и соверша-

ется не во имя ваших личных, узких мировоззрений и страстей, а во имя широких общечеловеческих идеалов правды и добра. Но не так думают и поступают наши современные протестанты. Слепленные ненавистью к недугам прошлого, они в нем все без разбора бранят и кланут; ополчаются против всего, часто даже вопреки разуму и истории, и не замечают, что у самих под ногами еще не сложилась почва и что в своей нетерпимости они становятся представителями нового и чуть ли не еще вящего деспотизма, чем прежний. Нет, господа, истина не так легко дается.

— Ну будет, послушали вас, — грубо прервал оратора один из длинноволосых молодых людей. — А по мне, так вас, крепостника, плантатора этакого...

— Паз-звольте! — возопил Никитенко. — При чем здесь крепостнические отношения, я этой материи вообще не касался. И потом, милостивый государь, я сам из крепостного состояния вышел и не позволю...

— Да что с того, — ухмыльнулся другой из оппонентов академика. — Нынче-то вы на собственном экипаже ездите.

— Об чем и толковать! — вдруг рявкнул Благодетель. — Где это вы крайнюю смелость обнаружили? Мало этого! Перцу побольше надо, перцу подсыпать надо в статьи! Вот погодите, дорвусь я до журнала, тогда все ко мне идите, тащите статьи, романы. Обличайте, разите неправду. Вытаскивайте на вид злоупотребления и поражайте злодеев смелым словом!

— Он что, журнал думает издавать? — спросил Максимов у Курочкина.

— Кто сейчас об этом не мечтает? — улыбнулся Василий Степанович. — Новые издания плодятся, как грибы. Аз многогрешный тоже прошение подал — хочу юмористический журнал затеять. Авось разрешат...

Дискуссия принимала тем временем угрожающий оборот. Никитенко, багровый от гнева, метал яростные взгляды на молодых людей, а Благодетлов, колотя кулаком по столешнице, топорища усы, рычал что-то о свободе духа, о том, что они еще посчитаются с сатрапами.

Максимов не стал выяснять, кто это они, а кто сатрапы, и кинулся к спорщикам. Обнял расходившегося учителя словесности за плечи и с умиротворенной улыбкой заговорил:

— Прошу вас, сударь, полегче. Неужто мы все, тут присутствующие, природно русские люди, не сумеем столкноваться?

Благодетлов подозрительно уставился в добродушные глаза Максимова. Резко повернулся и направился к столу с раскрытой книгой. Академик, топоча подкованными каблуками, промчался к двери, бормоча что-то про «беснующиеся умы».

И такие стычки становились все чаще. Когда Максимов читал иные статьи, у него самого начинали чесаться руки написать что-нибудь злободневное, прямо касающееся наболевших вопросов общественного бытия. Но едва взгляд его падал на неоконченную рукопись, он тяжело вздыхал и говорил себе: вот твое дело, вот изложение твоего кредо, вот твой аргумент в споре. Оставалось выяснить для себя, на чьей стороне он — среди «беснующихся умов» или среди тех, кто не видит необходимости зачеркивать старое во имя нового.

В одну из таких минут к писателю пожаловали гости — приятель его по медико-хирургической академии Виктор Иванович Якушкин с братом Павлом. В первую минуту Максимов не узнал Павла Ивановича — после того, как он мельком видел его у Островского в Москве, прошло шесть или семь лет. Якушкин-старший значительно изменился: в окладистой бороде его появилась изрядная проседь,

лицо было обезображено оспой, лоб и щеки изрезали глубокие морщины, обычные у людей пьющих. Догадку Максимова подтвердил и сивушный запашок. «Рановато, однако, — подумал он, — до обеда далеко еще». Глаза Павла Ивановича, доверчиво смотрившие из-под очков, имели нездоровый вид, точно от долгого недосыпа. Да и простонародный наряд — истертый нагольный полушубок, клокастая шапка, несвежие шальвары и стоптанные сапожишки — производил общее впечатление неряшливости и крайней бедности.

Но, когда старший из братьев заговорил, исчезло чувство жалости, поначалу охватившее Максимова. Речь Якушкина, приправленная меткими народными словечками, веселыми прибаутками, характеризовала его душевное состояние совсем не таким, каким оно представлялось по созвучию с неблагополучным обликом. Обычно у таких бедолаг — их много было в Петербурге — постоянно царил мрак на сердце, они ворчали, жаловались на судьбу, кого угодно, только не себя коря за пагубное пристрастие к водке.

Нрав Якушкина — беззлобный, доверчивый, лишенный всякой гордыни — способствовал быстрому сближению с людьми. Его скоро узнали и полюбили в Петербурге. А Максимов сделался одним из самых задушевных его приятелей. Может быть, чувствовал Якушкин родственную душу, потому и тянулся к нему. Да и общность интересов сближала их, недаром обоих прозвали ходебщиками за одинаковые приемы этнографического поиска «способом пешего хождения».

Писемский, с которым Максимов особенно сошелся после участия в «литературной экспедиции», тоже приглашал к себе Якушкина и с интересом слушал его рассказы о странствиях по Руси под видом офени. Павел Иванович бродил с лотком по самым глухим

углам, обменивая какое-нибудь зеркальце на песню или сказку.

Как-то Алексей Феофилактович заметил, что Якушкин вполне сошел бы за своего в крестьянской среде. Ни гимназия, ни университет не истребили в нем простонародный дух.

— Это от матери у него, — сказал Максимов. — Дворянин-то Павел Иваныч по отцу, а она — из крепостных.

— Ну вот видишь, — самодовольно заметил Писемский. — Я земляной дух этот за версту чую. Повернись судьба иначе — не обучись он французскому языку да разным философическим премудростям, в крестьянской избе с малых лет обретайся, вышел бы из него, что называется, забулдыжка, которому никто бы не дал взаймы ни косы покосить, ни сохи пропахать (потому что он их испортит и потом не наладит), но в кабаке все бы его слушали и приглашали бы его посидеть на завалине, на свадьбе чарку бы подносили, чтобы балагурил. А если бы пришло какое-нибудь дело насчет земель и надо бы миром на выгоне стать, то забулдыжку бы впереди всех поставили — чистым полотенечком его занавесили бы, а в белы ручки образок дали. И он бы так стоял с образком, как святой.

Быть мирской совестью — а не в этом ли и есть призвание истинного писателя? Якушкин не произносил речей, не жег глаголом сердца, но самим своим обликом, тихим словом, всепрощающим взглядом как бы призывал каждого, кто общался с ним, заглянуть в себя, спросить: так ли живешь, по правде ли поступаешь, верен ли своим убеждениям?..

Даже пьянство его было тихим, никому не доставляло беспокойства. Это тоже оказалось нетипично для петербургской богемы. Все литературные дома, все общественные места, где собиралась пишущая братия, пригляделись



уже к сценам пьяных безобразий, устраивавшихся «кутилами-мучениками». А Якушкин предпочитал потолкаться среди мужиков в извозничьем трактире, побеседовать с ними о житье-бытье. Не раз затаскивал он в эти «университеты» и своего нового приятеля. Максимову приходилось потом оправдываться перед друзьями за то, что слишком часто бывает в дешевых трактирах.

— Наши кабаки, — доказывал Максимов, непримимо потряхивая бородой, — одно из важных и живых подспорий для исследователя. Здесь русский простой человек делается крайне откровенным и разговорчивым. Сюда он несет и заветную вещь и заветную мысль. Он решает здесь легко и скоро то, что не решить ему нигде в другом месте. Пусть исследователь забудет на время о существовании паркетов, на которых так легко и удобно свидетельствовать перед всеми о своем знании и ловкой выправке во всевозможных иноземных танцах, пусть он забудет на время о тех изящных кабинетах и гостиных, где так легко говорится всякий вздор и так удобно ничего не делается, и пусть он смело, с полною верою в себя и в свое дело идет в кабак; тут видится жизнь без подготовки, без хитрости, вся нараспашку...

— Верно, верно, Сергей, — вторил ему Павел Иванович. — Все лучшие песни я в кабаках записал.

— А как же! Там слышатся не те песни, в которых тоска-кручина первый голос ведет. Там мужику море по колено, вот и услышишь то, в чем высказывается и бойко прыщет весь юмористический склад хитрого русского ума, вся его затаенная мысль, которая подчас дышит бешеной веселостью и всегда жаждет свободы, простора и воли. В ином месте русский человек таких песен не поет, как не высказывает своих сокровенных помыслов, не выдает всего себя с душой на ладони, с сердцем за поясом, говоря словами его же поговорки.

Общаясь с Якушкиным, Максимов не раз просил его рассказать, как ему удается разговаривать крестьян, какими способами заставляет он недоверчивых простолюдинов приоткрыть душу. Сам делился опытом хождений по Руси. Часто такие беседы заканчивались спорами. Якушкин был убежден в превосходстве мужичьей правды над учеными теориями. Даже славянофильских мыслителей он не жаловал — «они у немцев учились». А когда Максимов как-то раз особенно наседа на него в том смысле, что русским мыслящим людям не грех поучиться, Якушкин не вытерпел, сбегал в переднюю, где возился истопник, притащил в комнату донельзя удивленного мужика, обнял его, расцеловал и сказал:

— Все, что ты толкуешь, есть глупость, а хочешь иметь смысл, так вот у него учись.

— Да кто же с тобой спорит, голова, — укоризненно отвечал Максимов. — Я тоже деревню как источник нашей народности, нашего народного смысла почитаю. Но возводить ее в абсолют?.. А мещанин? Его можно было бы назвать городским крестьянином, если б он не стоял в той среде, которая зовется городским обществом, если б он, отставши от крестьянства и хлебопашества, не тянул к купечеству и ремеслам, если б он, словом, не был мещанин. Класс этот мало еще до сих пор подвергался исследованию, его отчего-то обегали, несмотря на всю его доступность. Класс этот представляет столько же много интереса...

— Да не найдешь ты в городе ничего доброго. Вдесятеро больше трудов потратишь, а запишешь какое-нибудь уродливое сочинение вроде той песни про Грунюшку-игруню, что умерла без юбки, — таковыми нас в ресторациях псевдорусские песельники в плисовых поддевках потчуют. Или того пуще — про ножку споют, которая на бревно наступила, и про свидетеля этого события, пожалевшего, что он не бревно...

— Смейся-смейся. А меня ты в свою узкую веру не обратишь! И в городе — широкое поле для наблюдателя народных обычаев. Возьми торговое сословие — тут вера в предания и обычаи отцов свято соблюдаются и почитаются. Наше купечество, не обладающее крупными капиталами, — единственный класс, в котором доводится проследить особенности местного туземного колорита; только одни они и самобытны и оттого, что независимы, и оттого, что заключены в круг занятий, неизбежно требующих ежедневных работ и ежечасного наблюдения. Класс этот в редких исключениях замкнут, и то только в купцах-раскольниках, класс этот интересен и по патриархальности своих верований, и именно по тому, что в нем сохраняется всецело русский человек со всеми его доблестями и слабостями. Наше купечество дало уже возможность Островскому изучить склад русского ума и сердца, все мелкие особенности и весьма иногда мелкие подробности их приложений к практике, к семейному быту, к общественным условиям. Здесь Русь настоящая, та Русь, до которой не коснулась немецкая бритва, на которую не надели французского кафтана, не окормили еще английским столом.

На этот раз Якушкин не стал спорить. Авторитет имени Островского был для него непререкаем. Да и возражать против того, что именно купеческая среда, ее нравы и быт вдохновили создателя великолепных комедий, было бы попросту нелепо.

Как ни расходились они порой во мнениях, все равно ощущали себя родственными душами. И когда Максимов объявил, что собирается ехать в черноземные губернии для изучения быта земледельцев и сбора материалов о хлебной торговле, Якушкин взял с него обещание заехать погостить в имение его матери Сабурово Малоархангельского уезда Орловской губернии. Он сам собирался отправиться туда на лето...

Орловская губерния встретила Максимова раздольем ржаных полей; леса, сопровождавшие путешественника вдоль всего шоссе в Московской и Калужской губерниях, ушли к горизонту. Только в лощинах да вдоль рек тянулись кое-где жидкие рощицы. Привычные для глаза бревенчатые избы, покрытые дранью, сменились приземистыми домишками из хилого леса, с высокой соломенной кровлей. Благодатная хлебная сторона показалась на первый взгляд куда беднее северных губерний.

Ямщики тоже показались Максиму менее шеголеватыми, чем подмосковные. Хотя по части пения вряд ли уступали. Словоохотливо рассказывали о всякой попутной деревне или диковинке. Писатель то и дело вынимал тетрадь, чтобы записать новую байку. Здесь приметно больше говорили о русалках, оборотнях.

— У нас их тут несосветимая сила, барин. Волка встренешь, гляди на задние лапы — ежели колени вперед, как у человека, значит о н.

— И опасны?

— Не-е. Он только на того бросится, кто его испортил.

— Как же это портят их?

— Дело нехитрое. Вот ты, к примеру, решил волком обернуться. Найди пень в лесу, воткни в него нож с приговором и перекувырнись через пень. Вот и вся недолга. Но если кто подсмотрит да тот ножик украдет — все, будешь век волком бегать. Так вот и портят.

— А если не вытащат ножа?

— Тогда беги пень да обратно перекувырнись. Опять ты человек станешь... Да что ты там в книжку пишешь?

— Любопытно мне. В наших местах про оборотней мало слышно.

— Выходит, другая какая нежить ведется, — философски сказал ямщик.

— У нас больше про леших, про кикимор рассказывают.

— Вот видишь! Это оттого, барин, что край у вас лесной. У нас лешему где толкаться? У нас зато полевик есть. Русалка опять же в полях да в рощах живет по лётам.

— А не в воде разве?

— Она из воды весной выходит. Знать, тоже тепла-то хочется. Увидишь, низко над рекой ветла склонилась — так и знай, где-то в ветках она сидит.

— Ты сам-то видал ли?

— Как не видать. Голая баба, а волоса зеленые. Сколько раз замечал: ежели ночь лунная, у нас в селе на мельничном колесе они крутятся, играют, водой брызгаются.

— Я слышал, что они красиво поют, заывают к себе в реку молодых парней.

— Да не-е... Никаких таких песней не бывает. Они больше в лесу пристают. Подбежит и спрашивает: «У тебя что в руке — полынь или петрушка?» А мы на тот случай, до лесу идучи, завсегда полынь берем. Ну так и ответишь ей: «Полынь». А она как крикнет: «Прячься под тын!» — и побежит. Надо тогда усноровиться да в глаза ей траву кинуть.

— А ежели скажешь «петрушка»? — с полной серьезностью спросил Максимов.

— А тогда она крикнет: «Ах ты, моя душка!» И почнет шалактать...

— То есть?

— Ну под мышками кызикать да по ребрам...

— А, щекотать...

— И этак можно молвить. Ну так вот, коли шалакливый ты человек, до смерти может зашалактать. Пена изо рта пойдет, и околеешь без причастия...

Ямщик почесал кнутовищем спину и кивнул в сторону поля, пестревшего сарафанами жниц.

— Вот и в хлебах они прячутся. Иная баба махнет серпом, а рожь кровью брызнет.

На Севере языческая старина также убереглась по глухим углам, но здесь вера в мифических существ — духов природы показала Максиму более первозданной, более глубокой. Может быть, потому, что орловские крестьяне ближе были к источнику этих поверий, ведь земля, по которой он сейчас ехал, была населена славянами-вятичами еще задолго до прихода христианства на Русь. По верховьям Оки проходили дружины Святослава, создателя могучей языческой империи. Бывал здесь и сын его Владимир, установивший государственный культ славянских богов и только впоследствии принявший веру «от грек».

Готовясь к поездке по черноземным губерниям, Максим перечитал много книг по истории этого края, расспрашивал его уроженцев. И многие названия городов и сел, встреченных по дороге, были знакомы ему по летописным известиям и трудам историков. Древние вятичи долго противились христианским проповедникам, приходившим под защитой княжеских дружин. Уже в конце XI века они убили миссионеров Кукшу и Никона, причисленных позже к лику святых. Да и в XII веке, как сообщала летопись, они держались языческих обрядов. В Козельске, Мценске, Новосиле и Ельце горожане сходились на игрища, не боясь церковников, творили по покойникам языческие тризны.

А потом татарский разгром на несколько веков сделал эти места полем соперничества многих властей, придерживавшихся разной веры. Татары, Рязанское княжество, Московское княжество, Великое княжество Литовское. То ислам, то христианство.

Немудрено, что народ еще крепче стал держаться своего языческого прошлого. Со временем легкий флер

православной обрядности освятил славянские священные мистерии — свадебные, похоронные, праздничные. Боги природы, скотьи боги, заступники людей и нечистая сила кое-как примирились с навязанными им церковью христианскими псевдонимами, но сущность народной религии сохранилась прежняя — языческая.

Самобытную культуру русского народа, выросшую из общих индоевропейских корней, можно было понять, только изучив всю массу так называемых суеверий. Понимание этого пришло не сразу, наука долго отворачивалась от языческой старины. Максимов вспомнил строку Баратынского: «Предрассудок — он обломок давней правды...» Когда поэт писал это, еще в пушкинскую эпоху, к древнеславянским поверьям, сказкам относились разве что как к занятым байкам. Теперь, всего двадцать лет спустя, большая наука взялась за эти байки. Выступая в Русском географическом обществе, академики призывали собирателей народного творчества, этнографов и путешественников отмечать малейшие оригинальные черты крестьянского быта. Молодой член-корреспондент Петербургской Академии наук Федор Буслаев как-то сказал: «Заботливое собрание и теоретическое изучение народных преданий, песен, пословиц, легенд не есть явление, изолированное от разнообразных идей политических и вообще практических нашего времени: это один из моментов той же дружной деятельности, которая освобождает рабов от крепостного ярма, отнимает у монополии право обогащаться за счет бедствующих масс, ниспровергает застарелые касты и, распространяя повсеместно грамотность, отбирает у них вековые привилегии на исключительную образованность». Максимов запомнил эти слова, они стали для него чем-то вроде программы, наполнили его деятельность злободневным смыслом. Да, говорил он себе, не только обличительные статьи, не только язвитель-

ные эскапады в газетах нужны сегодня обновляющейся России. Ей нужно истинное знание о далеких корнях. Только хорошо изучив прошлое, изучив духовный мир нации, понимая ее характер и идеалы, можно сказать что-то дельное о будущем, выбрать верный путь к свободе, к могуществу.

От Орла до Малоархангельска оказалось всего два перегона. К полудню подъехали к Сабурову, глянувшему из-за зелени садов голубыми куполами церквушки и красной крышей скромного господского дома. Крестьянские избы, крытые соломой, гурдились в стороне, словно прошлогодние скирды.

Павел Иванович вылетел на крыльцо в красной рубахе навыпуск, в ветхих шальварах и опорках. «Современник», который он, видно, читал, когда слышал грохот брички, так и забыл раскрытым в руке.

— Сережа! Вот радость! Ну уважил, голубчик... Маменька, где же вы, да подите сюда скорее, поглядите на Сергея Васильевича...

Плотная старушка с миловидным простонародным лицом выкатилась на крыльцо вслед за сыном. Последовали новые ахи, вскрики, сбежались дворовые девки, приплелся старый лакей с фиолетовым носом и гигантскими сивыми бакенбардами, свисавшими на грудь. Он, как видно было, держал «порядочный тон», ибо с величавостью кивнул гостю, а уж затем неспешно принял из рук путешественника нехитрый багаж.

Прасковья Фалеевна оказалась в противоположность своему сыну женщиной весьма практичной, обнаружив хозяйственную сметку и здравый смысл, свойственные крестьянам. Недаром, видно, отец писателя, гвардейский поручик Иван Андреевич Якушкин выбрал ее себе в жены. Поместье, доставшееся вдове после смерти супруга, она



привела в образцовый порядок, и земля стала приносить доход, достаточный, чтобы дать хорошее образование семерым сыновьям и дочери.

В считанные минуты во дворе под большой яблоней был накрыт стол, явились запотевшие графины с «ерофеичем» и наливками. Максимов смог убедиться, что законы гостеприимства неизменны — и здесь, как на Севере или в Поволжье, его усиленно потчевали, пока не накормили до отвала.

Несколько дней, проведенных в Сабурове, позволили гостю присмотреться к домашней жизни крестьян, к их обрядам, послушать песни, зарисовать костюмы и утварь. Богатая хлебом черноземная Русь сильно отличалась по своей культуре от северных губерний, хорошо знакомых Максиму. Впервые попав на эти тучные нивы, он с удивлением обнаружил, что против северных здешние селения смотрятся весьма убого. Отсутствие леса доставляло орловскому мужику столько же хлопот, как малое плодородие почв его северному собрату. Выстроить хорошую бревенчатую избу было под силу только самому богатому.

После поморских хором, украшенных резными наличниками, коньками и крыльцами с балясинами, жилища орловских крестьян поражали почти полным пренебрежением к удобствам. Низкие потолки, глинобитный пол, страшная теснота, в которой ютилось не меньше дюжины обитателей. Тут же, объяснял Якушкин, в холодную пору находили приют куры, телята и ягнята. Теплых крытых дворов, как на севере, здесь тоже не было — опять-таки отсутствие строевого леса тому причиной. Убогое убранство изб производило гнетущее впечатление. Огромная печь, занимавшая половину жилого пространства, служила не только лежанкой, в ней еще и мылись за неимением бани. Этот обычай показался Максиму совсем диким. На его

родине на задах каждой крестьянской усадьбы стояла хотя бы плохонькая банька.

Приученный с детства к чистоте — даже в бедных избах на его родине постоянно скребли и мыли стены и полы, — писатель с оторопью осматривал обсиженные многими поколениями мух стены, тенета по углам с жирными мизгирями, поджидающими своих жертв. «Божье благословение» — две-три почерневшие иконки в красном куту, пришпиленные к ним пропыленные пучки вербы, несколько лубочных картинок да воткнутые в стены кованые светцы с остатками обгорелой лучины — вот и все убранство избы.

— Что это у вас, никак хлева не убираются? — спросил Максимов в одной избе, отгоняя от лица рои мух. — У нас в Костромской губернии этакой напасти нет...

— Зачем не убираем? — обиделся хозяин. — Назем, он в хозяйстве нужен. Опять же топим котяхами, иначе сказать, кизяками... А насекомая — что ж с ней сделаешь? И муха не без брюха, и ей, вострухе, погрызть хочется. Залетит божья тварь, покусает чего и в обратную, к солнушку летит.

Когда вышли на двор, гость критически оглядел ветхую соломенную крышу, растрепанную непогодами, и спросил:

— Отчего не делаете кровлю прочнее?

— Нам супротив соседей идти невозможно, потому — обижаться будут. Станут спрашивать: откуда такую моду взял? Станут говорить, что над ними и над отцами и дедами смеяться выдумал.

Попробовал Максимов и снедь крестьянскую. Обычной пищей летом были здесь окрошка или редька с квасом. Подавалось много хлеба, ставился чугунок с пшенной кашей. В тех семьях, что побогаче, являлась на стол «убойна» — вареная говядина. Вообще же, отметил писатель,

и в кулинарном искусстве здешние хозяйки уступали костромским, а тем более поморским.

Будучи уроженцем лесного края, привыкнув к обилию растительности и воды, Максимов поначалу с плохо скрытой неприязнью говорил об истоптанных скотиной холмах, о мутных прудах, усеянных утиным и гусиным пухом. Глазу не за что зацепиться в этих почти сплошь распаханых просторах. И чего тут Тургенев воспевал, о чем Якушкин все уши прожужжал в Петербурге?..

Но после нескольких дней пеших прогулок по окрестностям Сабурова, после долгих бесед с мужиками в поле, на пасеке, в кабаке Максимов стал отрешаться от первоначального невыгодного впечатления. Да, здешняя природа лишена первозданности, да, здешние деревни проигрывают в благоустройстве — топка исключительно по-черному, избы строены абы как. Но по богатству фольклора, по явной древности обычаев Орловский край показался ему много ярче. В жизни народа столь очевидны были черты древнеславянской старины, что иной раз Максимов прямо-таки физически ощущал прикосновение к языческой культуре. Да и к природе он постепенно присмотрелся, понял своеобразную красоту могучих складок земли, поэтическую таинственность извилистых балок, заросших кустарником, неброское очарование лугов в пойме реки Сосны.

Кончался август. Жницы вязали последние снопы, складывали их в крестцы. Максиму и это было в диковинку. Северные крестьяне по-иному составляли дюжины снопов и именовали их суслонами. Вот уж истинно говорят: что город — то норов, что деревня — то обычай.

Когда жатва закончилась, крестцы повезли на тока, а последний сноп — дожиночный — нарядили бабой, надев на него поневу и кикю. Самая красивая девка села взяла это чучело на руки и, приплясывая, весело напевая,

пошла в сторону церкви. За нею, вторя песне, двинулись празднично одетые жницы.

— Вот за что я деревню выше всего ставлю, — говорил Якушкин, идя вместе с Максимовым в этой пестрой толпе. — За поэзию. Ни в одном другом сословии нет привычки освящать всякий этап трудовой жизни... Чуть не каждый день года имеет у крестьян свое значение и название. Хочу написать книгу «Мужицкий год»...

— Тебе волю дай, ты бы всех в вольные хлебопашцы определил, а города за ненадобностью упразднил, — со смехом отвечал Максимов.

— А что, и не худо прожили бы. Без полиции, без чиновников, вообще без государства, если на то пошло...

— Ты прямо-таки революционист, Павел. Как же без армии, без культурных центров нации существовать? Живо иноплеменники подомнут...

— Да никакой я не ниспровергатель. От насилия всякого отрекаюсь. Не для чего — миром разберемся. А касательно государства — тоже не станем рядить. Как народ похочет, так и уставится.

— Он уже и похотел. Живет общиной, не позволяя ни-кому высунуться. Вот и ты этот символ веры воспринял. Пусть у всех будет поровну и вообще все будет гладко. А красота жизни в том, что она неровная. Холмы, овраги, степь, опять пригорки, а то и настоящие хребты со снеговыми вершинами... Я тоже в поэзию нашего русского крестьянства влюблен, но мужицкий рай мне не по нутру. Не дай бог, если когда-нибудь взаправду все сословия упразднятся, поэзии тогда конец придет...

То споря, то вместе радуясь обретенному знанию новых деталей быта, друзья исходили все окрестности. Зоркость Максимова к мелочам восхищала Якушкина, он признавался: многое, привычное с детства, так примелькалось

ему, что он проходил мимо очень важных явлений, не осмысливая их.

Накануне 1 сентября в усадьбу пришли мужики и, вызвав из дома барина, попросили его:

— Павел Иванович, батюшка, вели своим огня в печач не зажигать до завтра. Мы поутру живой огонь принесем.

— Это что еще за притча? — поинтересовался Максимов.

— Да ведь завтра, по крестьянскому месяцеслову, Семен-летопроведец. В допетровской Руси Новый год с этого дня считали, да и церковь новолетие от первого сентября ведет... Если хочешь, пойдем с утра, посмотрим, как священный огонь добывать будут...

В предрассветной мгле видно было, что широкую затравешшую улицу заполнила толпа в чуйках — одни мужики. Подойдя ближе, увидели, что народ сгрудился возле двух столбов, вкопанных в землю. Перекладиной между ними служил брус с закругленными концами, вставленными в отверстия в верхней части столбов. Две веревки, привязанные к брусу с разных сторон и обмотанные вокруг него, тянулись далеко в стороны.

За каждый из концов взялись по дюжине мужиков и, перекрестясь, в полном молчании принялись поочередно тянуть к себе веревку, как в детской игре. Брус при этом быстро вращался то туда, то сюда. В гнездах, где были укреплены его концы, вскоре появился легкий дымок, потом он стал гуще, гуще, и вдруг сначала с одной стороны, потом с другой вспыхнули язычки пламени.

Седой старик поднес к огню клок пакли и, запалив, бросил ее на кучу хвороста. Когда костер разгорелся, мужики, крестясь, принялись выхватывать из него затлевшиеся палки и бежали к своим избам. Якушкин тоже

почтил обычай и принес домой уголек, велел кухарке вздуть из него огонь в печи.

— Вот так каждый год, как себя помню, — сказал он Максиму.

— Да ведь это настоящее языческое священнодействие. Думаю, оно в неприкосновенности сохранилось с тех пор, как славяне отправляли культ Перуна. Хоть сейчас в книжку о первых временах Руси картинку ставь...

— А что, ты, наверное, прав. И Семен-летопроведец тут ни при чем. Я как-то и не задумывался об этом действе — ну добыли огонь и добыли, мало ли у нас тут обрядов разных. А все потому, что пригляделся, привык...

Побывали друзья на сельском базаре, послушали бойкую акающую речь толпы. Максимов подержал в горстях зерно нового урожая — тяжелое, литое, не чета северному, сморщенному от просушки в овинах. Он все больше проникался благоговейным удивлением перед силой этой земли, дающей крестьянину возможность прожить плодами своей нивы. Тут не говорили, как костромские мужики: меж сохи да бороны не ухоронишься. Здесь все надежды на чернозем возлагали, а на отхожие промыслы почти не подавались.

Не зря шел в эти места, граничившие с Диким Полем, русский землепашец еще в шестнадцатом веке. Мечта о богатом хлебе оказывалась сильнее, чем страх перед постоянными набегами крымчаков. Возле засек — сторожевых постов — селились пахари. С тех пор уцелели по черноземным губерниям однодворческие усадьбы. Жили в них потомки лично свободных служилых людей — ратников, про которых окрестный люд говорил: кровь крестьянская, а спесь дворянская.

На базаре Якушкин показал Максиму красивую молодую бабу, одетую ярче других: на голове пестрая кика с подвесками, на груди десятки ниток с бисером, крест

навыпуск, красно-синяя понева поверх платья, красные сапожки.

— Вон однодворка. Поди порасспроси, они побойчее, небось не испугается твоего карандаша...

И правда. Баба сначала вопросительно подняла бровь, потом, услышав, чего от нее хотят, улыбнулась, обнажив белоснежные зубы, и, уперев руки в бока, задорно сказала:

— Пиши, пиши. Федосья меня зовут. По-нашему — однодворцы мы, а по-вашему — крестьяне. А только мы господам не подчинены, мы самому государю крестьяне...

Максимов спросил, как называются разные части ее туалета, и она не только ответила на его вопрос, но и подробно рассказала, как шьются понева, кика, как делаются бусы. А когда он попросил перечислить все домашние работы, однодворка засмеялась.

— Чудной ты, барин. Будто в деревне не жывал николи. Хозяйка я: что в доме работы есть, та и моя — суп, кашу варю, когда — лапшу, натрешь ее, накрошишь мелко, в вар закинешь в печку, когда обедать, вытащишь... Еще чего тебе? Межи подбиваю на огороде, траву срезаю, чтоб огурцы не глушила. На покос хожу, сено граблями гребу, в копны складаю... Да ну тебя, барин, ты небось для надсмехательства какого в книжку свою пишешь...

И пошла прочь, плавно покачивая бедрами. Знала, что вслед ей глядят полбазара, и тем величавее несла свою красивую головку, увенчанную нарядной кикой.

— Боярыня, да и только! — восхищенно молвил Якушкин.

На базаре Максимов увидел Павла Ивановича в деле. Велев другу подождать, он смело шел к торговцам и перекупщикам, заводил с ними разговор. Первой реакцией их

было недоверие — уж больно не соответствовали очки его простонародному одеянию.

Максимов бродил по базару, издалека поглядывая, как обстоят дела у Якушкина. Когда видел, что мужики засуетились вокруг Павла Ивановича, захлопали его по плечам, решался и сам примкнуть к честной компании. С трудом проталкивался к другу. Все говорили наперебой, стремясь завладеть вниманием Якушкина:

— Слышь-ко, Павло Иваныч!.. Надо тебе так говорить, милый человек... Подожди-ка, Павел Иваныч!.. Павел Иваныч, слушай-ка, что я тебе скажу, послушай лучше меня!..

Почти всю жизнь прожив в краю, где царило оканье, Максимов и в странствиях своих попадал в такие местности, где северный говор безраздельно господствовал. Только в годы учения в Москве, где он столкнулся с акающим диалектом, да в чопорном Питере, где произносили слова в подчеркнуто правильной манере, немного поотвык от родного костромского говора. Лишь теперь, погрузившись в море южнорусского наречия — и не мешанско-купеческого, как в Москве, а настоящего, деревенского, — он ощутил былинную красоту его. Вероятно, и во времена князей киевских говорили так древние вятичи, коренные насельники этой земли. И язык сберег их духовное наследие, донес через толщу веков языческую память.

Иконы в деревнях называли не иначе, как «боги». Явно с тех времен осталось это в языке, когда в светлом углу стояли изображения крестьянских заступников, «ведавших» всеми сторонами жизни землепашца. Широко были распространены поверья о домовых, гуменниках, овинниках и прочей нежити. Как в давнюю языческую пору, втыкали в косяк двери иголки — против колдуна,



верили, что не войти в избу знающемуся с нечистой силой. Старухи знахарки выходили на сбор целебных трав, зачуровавшись заговорами, где поминались давно забытые божества — Перун и Ярило.

Однажды вечером Максимов увидел, как на порог ветхой развалюхи на краю села вышла босоногая старуха и стала креститься на темный восток. Спросил у Якушкина:

— Что это она?

— Самая голытьба. Даже икон нет в избе. Вот на восход солнышка и молится.

— Дажьбогу, — задумчиво произнес Максимов. — Он ей по духу ближе, чем Христос, чем отец его Иегова, которого бояться положено.

— А и то сказать, от солнечного бога только хорошего ждать. Вот она в разуме-то своем и соединила его со Христом — сыночком Божиим.

Интерес к поверьям зародился у Максимова еще в первом путешествии. Он не мог бы сказать, чему больше был обязан — собственной любознательности или той атмосфере, которая сложилась в науке к середине пятидесятых годов. Одна за другой появлялись статьи А.Н. Афанасьева и Ф.И. Буслаева о ведьмах, колдунах, нечистой силе.

Постепенное освобождение общества, пусть и неполное, из-под ига церковной догмы позволило людям науки поставить вопросы, касавшиеся не только седой древности, но и нынешнего бытия русского народа. Это вызывало недовольство ханжей.

Раз Максимов попытался расспросить сельского священника о бытовом язычестве его паствы. Но услышал в ответ:

— Не только запоминать, но омерзительно даже слушать и видеть самому все то, чем злой дух-дьявол, враг человеческий из веков опутал в коварстве своем умы наших поселян.

Якушкин, узнав об этом, только посмеялся: «Ты бы еще к исправнику сходил за песнями...»

Когда Максимов засобирался в дальнейший путь — целью его на этот раз была соседняя Тамбовская губерния, — Павел Иванович вызвался «пройтись» с ним до Елецкого уезда, где жил его приятель Михаил Александрович Стахович.

— Да ты, наверное, по Москве его помнишь. У Островского он бывал, на гитаре ловко играет... Давай завернем к нему в Пальну, у него имение не чета моему, недаром местные землевладельцы его уездным предводителем дворянства выбрали. И народ там занятный. Опять же Елец рядом, город богатейший, базар громадный. Самое место тебе хлеботорговлю изучать. Поблизости — Лебедянь, Ливны. И там ярмарки, для наблюдений — рай. Десять таких, как твоя, тетрадей испишешь...

Поскольку Максимов собирался иметь дело прежде всего с торгующим людом, толкаться на рынках и бойких речных пристанях, где грузят хлеб, он решил и сам одеться торговцем средней руки. Главными предметами его туалета на этот раз были серая суконная поддевка со складками на поясе с боков и сзади да высокие, до колен, сапоги. Осмотрев его в этом одеянии, Якушкин сказал:

— Всем хорош, и борода вполне православная. Вот только очки, будь они неладны.

— От таковского слышу, — в тон ему ответил Максимов.

Оба рассмеялись. Якушкинские зловключения, о которых он рассказывал Максиму, чаще всего были связаны именно с очками. Не раз подвыпившие мужики или фабричные «ребята» грозились накостылять ему — два маленьких стеклышка на носу действовали на них, как красное на быка. Да и у полиции странный простолюдин

вызывал подозрения, приходилось Якушкину и на съезжей ночевать.

Теперь, когда они двинулись в путь вдвоем, на них с подозрением поглядывали встречные крестьяне, на какое-то мгновение столбенели, потом раздумчиво стаскивали с головы поярковый «гречневик» и кланялись прохожим.

— Ч-черт, все одно господ чуют! — досадовал Якушкин. — Здесь, понимаешь, ежели человек не в немецком платье, но в очках — это или какой-нибудь старичина купец, или начетчик из раскольников. Но на тех мы не похожи, это точно, нету в физиономии постности.

— Хоть очки снимай! Но и то сказать — сослепу втрюхаешься куда-нибудь. Либо ямщик кнутом приласкает, то-то любо будет: дворянина за маскарад вздули...

Так они шли, постоянно подтрунивая над собой, останавливаясь, чтобы полюбоваться привольем убранных полей. Везде кипела работа, праздных людей на дороге почти не было, так что и потолковать с попутчиками, как мечталось в Сабурове, не выходило. А жаль, говорил Якушкин, дорога к разговорам по душам располагает.

Зато вечерами, остановившись на ночлег в крестьянской избе, подолгу беседовали при свете лучины с хозяевами, с подошедшими на огонек соседями. Максимов занимательно говорил об основных событиях русской истории, Якушкин рассказывал, что в Петербурге по заданию царя умные люди готовят положение об освобождении крестьян.

Один из дворовых, заглянувших послушать захожих людей, сказал:

— Я тоже про волю слышал. Говорят, что, окромя нее, дворовым дадут землю и каждому по сту рублей. Я землю не возьму, на что она мне — повару, я чистые деньги спрошу. Первым делом куплю штоф водки, по-

дойду к кабинету барина и при нем выпью стаканчик за здоровье государя императора. Барину же пожелаю всего хорошего.

— Врешь, сробеешь, — флегматично заметил хозяин избы.

— Я-то?! — захорохорился повар. — Вот как садану тебя сейчас по кочану.

Долго Якушкину пришлось мирить спорщиков.

Утром странников провожали, крестя с порога. Ветхий старик, благословив их в дорогу, долгим взглядом посмотрел в глаза Максимову и сказал:

— Не питерский ты купец, хоть ты и говорил вчера. Не верю я, хоть ты и опять то же сказывай.

— Какой же, по твоему положению?

— Да что хошь, а человек ты не питерский.

— Почему же тебе так кажется?

— Да не стал бы так толковать с нами долго. Ты либо из Москвы, либо откуда поближе.

— По речи, что ли, ты полагаешь так или по другой какой причине?

— И по речи по твоей, и по охоте твоей к разговору; да и много ты нам занятного сказывал.

— Учился, дедушка, оттого и сказывал. Не затем ведь учился, чтоб про себя держать. Чем богат, тем и рад.

— Да ведь это, брат, тоже человеком: из иного колом не вышибешь.

Когда отошли от деревни, Якушкин сказал:

— Не иначе, как за святых людей приняли — то ли за староверов, то ли за сектаторов.

Заходили путники на тока — поглядеть, как крестьяне отбивают цепами зерно от колосьев, как провеивают его, высоко вскидывая деревянными лопатами. На мельницах спрашивали хозяев о способах и сортах помола, об устройстве жерновов и плотин. И везде записывали

услышанные песни. Ибо не обходился без них русский человек ни на работе, ни в час отдыха.

Имение Пальна, расположенное к северу от Ельца, славилось грамотным хозяйствованием: образцовое коневодство, скотоводство, лесоразведение и обработка земли в соответствии с требованиями передовой агрономической науки сделали его владельца одним из самых состоятельных помещиков Орловской губернии.

Михаил Александрович Стахович заботился и об улучшении жизни своих крепостных. В его селах и деревнях царил строгий порядок, избы и церкви, возведенные из кирпича, резко отличались от неказистых построек соседних селений. Крестьяне отвечали просвещенному барину искренней любовью.

Максимов и Якушкин, пришедшие в Пальну как раз накануне престольного праздника, смогли наглядно убедиться в истинности народолюбия Стаховича, не раз выказывавшегося в московском кружке Островского. Устроенное Михаилом Александровичем угощение для селян, для пришедших к ним в гости из окрестных деревень развязало языки, и смешавшиеся с толпой ходебщики слышали толки о барине, о том, как станут жить после освобождения. Никто особенных надежд на улучшение своей жизни не питал, никто не собирался сводить счеты с владельцем усадьбы. Напротив, многие говорили, что лучшего желать — только Бога гневить.

Один из пришлых мужичков раскуражился и стал кричать:

— Православныи! Видали все, какая знамения Божья в небесах явлена — комета хвостатая. Это, судыри мои, к войне либо к мору. Умный человек один, приказной, от службы уволенный, в кабаке объяснял: одних бар повыморит, а вы, крестьяны, сами дворяннить станете!

— Эх тебя, дурья башка, ломает, — сплюнув в сердцах, сказал основательный мужик в ладной сибирке, с окладистой русой бородой. — Не нами, а отцами нашими сказано: не дай бог свинье рог, а мужику барство...

Оратор смущенно утер нос рукавом чуйки и растворился в толпе.

Когда на другой день рассказали об этом разговоре Михаилу Александровичу, он грустно улыбнулся и заметил:

— Мало получить внешнюю свободу, надо воспитать ее в своей душе... Долгонько еще нашему крестьянину да и вообще русскому человеку придется рабский дух в себе изживать.

Якушкин возмущенно начал:

— Ну какой же ты славянофил после этого...

Но Стахович прервал его:

— А разве, по-твоему, быть славянофилом — то же, что быть самодовольным себялюбцем?

Павел Иванович смутился и, верный своей манере, быстро ретировался из залы. Через минуту его красная рубаха мелькнула на аллее, ведущей к селу.

— Божий человек, — сказал Максимов. — Он ведь не из фанатизма какого-то мужика превозносит — из жалости. Хоть словесно хочет приподнять его над грязью житейской, вытащить из унижения и робости.

— Да я знаю, — кивнул Стахович. — А все же не могу не спорить. И потом обидно, когда от своих такие дикие мнения слышишь. Ну ладно, недоброжелатели наши, те нарочно хотят вбить всем в головы, что славянофилы — это какие-то лапотники, певцы азиатчины и деспотизма. И вдобавок — уравниатели, мечтающие всех одной гребенкой причесать.

— Вот досада, Павел Иванович вас не слышит. Ведь вы почти теми же словами, что я ему недавно...

Три дня, проведенных в Пальне, обогатили познания Максимова в народном искусстве. Стахович, прекрасный музыкант, переложил на ноты немало песен, собранных Якушкиным по заданию Петра Киреевского. Много старинных напевов, почти забытых народом, уберег он от забвения, подготовив к печати четыре больших сборника.

Перебирая струны гитары, Михаил Александрович пел приятным бархатистым тенором. Дворня, воспитанная в демократическом духе, без особого приглашения усаживалась поблизости от барина, то один, то другой начинал подтягивать, и вскорости целый хор вторил ему.

Простота Стаховича в обращении с крепостными шокировала некоторых соседей, заезжавших в Пальну. Максимов видел, как морщились иные из гостей, когда Михаил Александрович панибратски обнимал своего бурмистра Ивана. Писателю было непонятно высокомерие этих бар, ему казалось: нельзя не залюбоваться на статного сметливого мужика, с очевидным обожанием взиравшего на своего благодетеля.

Утром того дня, когда Максимов собирался ехать в Лебедянь, на тамошнюю конскую ярмарку, знаменитую на всю Россию, Стахович распорядился заложить для него лучшую тройку.

— Тут каких-то полсотни верст. Дорога недурная. С фельдьегерской скоростью долетите.

На прощание обнялись, расцеловались троекратно. Едва Максимов вскочил в легкую щегольскую бричку и опустился на сиденье, его вдавило в кожаные подушки — кони рванули с места и резво помчались по липовой аллее.

Он обернулся, в последний раз помахал друзьям. Красная рубаха Якушкина и светлый сюртук Стаховича пропали за стеной стволов.

В Лебедянь Максимов приехал к полудню. Город, расположенный на обрывистом берегу Дона, был очень живописен. В тихие осенние воды, усеянные палой листвой, гляделись разноцветные главы церквей и древних храмов подгородного монастыря. Богатые дворянские и купеческие дома уступами белели среди садов, почти совсем облетевших.

Ярмарка была в разгаре. Все разговоры в городе вращались вокруг основного предмета здешних торгов. В пестрой толпе, наполнявшей улицы, то и дело слышались слова из лексикона конских барышников и ремонтеров — офицеров, закупавших лошадей для армии.

Огромная ярмарочная площадь, уставленная бесконечными рядами телег с поднятыми оглоблями, представляла собой как бы самостоятельный город, пристроившийся обок Лебедяни. Масса наскоро сколоченных трактиров и кабаков, всевозможные лавчонки и балаганы предоставляли съехавшемуся из ближних и дальних губерний люду полный набор удовольствий.

Дворяне из степных имений в камлотовых чуйках, надетых на один рукав, и в четырехугольных конфедератках, офицеры разных родов войск в длинных шинелях с бобровыми воротниками, кучерявые цыгане с серьгами в ушах, барышники в синих кафтанах и высоких шапках, мужики в засаленных романовских полушубках. Все они вперемешку толпились вокруг широкозадых рысаков, мохноногих битюгов, нервных ямских лошадок и понурых крестьянских кляч. Отовсюду слышались божба, ругань, смех. Хлопали друг друга по рукам, стовариваясь о цене, отбивались от назойливых цыган и татар, норовивших схватить любого мимохожего за полу и навязать ему свой товар.

Пробираясь по размешанной тысячами ног слякоти между возами с конской сбруей, Максимов заметил в



толпе знакомое лицо. Длинные светло-русые волосы, ниспадающие из-под картуза на вытертый бархатный воротник черного пальто, аккуратно подстриженная борода, задумчивый взгляд темно-серых глаз из-за очков. Кто-то из питерских, но кто? Писатель не успел этого вспомнить — обладатель картуза тоже заметил его и весь просиял.

— Сергей Васильевич!

Он протиснулся к Максимову и, радостно улыбаясь, зачастил:

— Не припомните? Вижу по выражению вашему... Медико-хирургическая академия. Только я поступил, когда вы уже уходите собиравшись. Мы с вами у Василия Степановича Курочкина виделись.

— А-а, припоминаю...

— Левитов Александр.

— Ну как же, как же... — Максимов с чувством пожал ему руку. — Но позвольте... Вас же, как мне говорили...

— Да-да. Осенью пятьдесят шестого года выслали в Шенкурск. Вы тогда на Севере были от Морского министерства, я от Василия Степановича знаю.

Теперь Максимов окончательно вспомнил этого юношу. Когда он приехал из Архангельской губернии, то услышал, что начинавшего пописывать студента академии, человека небесталанного, но строптивого, за дерзость и неповиновение начальству выслали в дальнюю северную глушь.

— Так теперь, выходит, кончились ваши злоключения?

— Да, летом я домой, к отцу вернулся — он у меня дьячком в селе Добром здешнего уезда... Пешком от самой Вологды пробираемся, — все так же восторженно улыбаясь, говорил Левитов.

— Выходит, и вы к племени ходебщиков принадлежите?..

— Кто сии, позвольте полюбопытствовать?

— Да мы с Якушкиным Павлом Ивановичем такого прозвания сподобились... Я потому вас сопричислил, что вы, как слышно, тоже писать начинали.

— Я и посеичас пробую... — Левитов смущенно отвел глаза и тут же заговорил о другом: — Да что это мы торчим тут! Холодно, к тому же ветер этот тянет. Может, зайдем куда-нибудь?

— Для сугреву? — лукаво спросил Максимов и потер озябшие руки.

Левитов кивнул и прогнусавил в пономарской манере:

— Не пьянства для, но стомаха ради и многих недугов.

Огляделись. Вывеска ближайшего трактира «Погибельный Капказ», украшенная изображением свирепого абрека в черкеске и с кинжалом в зубах, развеселила обоих, и они решительно направились к дверям заведения.

Когда заняли столик, Максимов сказал, что все последнее время предпочитал деревенские кабаки, ища в них «мужицкий толк». Левитов согласился с ним, что именно там средоточие сельского веселья и острословия. Насчет городских питейных заведений у него было другое мнение. Здесь заезжий крестьянин совсем по-иному себя ведет, ломается, хочет показать, что стоит больше, чем о нем думают. Развращают его ярмарки и городская суета.

— Пока мужик в деревне живет — все ему нравится. И жена корявая кажется ему раскрасавицей, и дьяк — невесть мудрецом каким, и краюха хлеба с квасом — манной небесной, а изба с подпорками — палатами крепкими. А стоит ему разок в город попасть, там пожить да помаяться — полетит все вверх тормашками... Критиковать станет и умствовать. Теперь ему в деревне и скучно и нерадостно. Жить лучше хочется.

Максимов кивал, слушая собеседника, потом добавил, что мужика особенно портит общение с фабричными.

— А разве другие городские сословия лучше? Возьмите так называемый образованный класс наш. Я вам прямо здесь, не выходя из трактира, таких судариков покажу, что в пору бы и Гоголю за них приняться...

В «Погибельный Капказ» набилось к этому времени немало посетителей разного звания — и дворяне, и купцы, и богатые мужики из окрестных сел. Левитов знал чуть не каждого — вся его юность прошла в Лебедяни. В село Доброе, где отец его содержал постоянный двор, также несколько раз в год съезжался весь уезд на ярмарки.

— Где дворянину и покрасоваться — на выборах да на ярмарке. Как завелся торжок да плохонький трактирчик поставился — жди наших Гамлетов... Кстати, Иван Сергеевич Тургенев, такого персонажа из Щигровского уезда запечатлевший, у нас в Лебедяни бывал. Я ведь здесь в городском духовном училище учился, видел его. Году в сорок седьмом это было. Строен, породист, красив собой, здешнее барство так вокруг него и увивалось. Идет, бывало, по ярмарке, на голову возвышается над всей этой братией в картузах и поярковых шляпах.

Из-за захватанной шторы в зал вышла размалеванная дива с громоздкой шарманкой на ремне. Мальчишка-половой подsunул под инструмент табуретку, и «артистка» принялась крутить ручку, подпевая писку и хрипу пронзительно пропитым сопрано. Сидевший поблизости от нее щуплый мужичонка в синей сибирке блаженно зажмурился и, откинувшись на стуле, стал прищелкивать в такт пальцами. На его морщинистом лице, поросшем редкой татарской бородкой, можно было изучать топографию человеческих пороков. Светлые волосенки топорщились над засаленным воротом.

Его сотрапезник, раскормленный господин в расстегнутом неопрятном казакине, в перепачканных грязью сапогах, положив руку на огромный живот, похлопывал

по нему с выражением полнейшего довольства на одутловатом лице. В другой руке у него дымилась трубка с длинным черешневым мундштуком. Прикладываясь к нему, толстяк выпускал дым себе под нос, отчего длинные вислые усы его постоянно курились.

— Вот вам два типичных уездных персонажа, — сказал Левитов, указав на соседей. — Тщедушный — из мелких купцов, а вернее сказать, маклак, сводит за магарыч покупателя и продавца, воздухом торгует.

— Да я на таких шаромыг нагляделся по хлебным базарам.

— А второй — дворянишка захудалый. Только и славы, что бумажка с гербом в спальне у него висит. А ведь оба почитают себя умственными деятелями. О политике порассуждать горазды, о литературе — попадись им что на язык, так расхают, что вчуже вострепещешь. И это еще не из худших. Другие в пьянстве погрязли и ничего дальше своего кармана знать не хотят.

— Но ведь эти двое, как вы сказать изволили, типичные представители уездной общественной сцены, при всем их несовершенстве отражают известную тенденцию...

— Какая уж там тенденция! Тоже одни деньги на уме, а толки об искусстве — это так, чтобы дам занять... В Петербурге сейчас о свободе толкуют, но зачем она подобным господам? Что они скажут России?

— Да свобода-то, милостивый государь, прежде всего нам с вами нужна. О других попечение отложим. И потом... не верю я, что провинция наша так скудна, как вы говорите. И сами вы — первое тому подтверждение...

За те месяцы, что провел Максимов в странствиях по черноземным губерниям, он имел немало подобных споров. Именно они убедили его, что духовное брожение дошло уже до самых отдаленных мест, что недовольство

окружающей действительностью, высказываемое людьми всех сословий и возрастов, предвещает большие перемены в русской жизни.

Побывав в Пензенской и Симбирской губерниях, в конце ноября Максимов добрался до Казани. Он намеревался передохнуть здесь несколько дней с тем, чтобы потом ехать прямо в Петербург.

За обедом в трактире писатель спросил свежие газеты; прихлебывая ароматный китайский чай, принялся пролистывать их. И вдруг его словно по глазам хлестнуло. Жирно набранная заметка извещала о расследовании убийства орловского помещика-крепостника Михаила Стаховича.

Максимов стал лихорадочно просматривать все газеты подряд, попросил полового принести старые номера. Сообщения были разноречивыми. Одни газеты твердили, что это, по всей видимости, месть угнетенного, другие утверждали, что Стахович был либеральным и просвещенным помещиком и пал жертвой собственного попустительства крепостным. В официальном отчете полиции о происшествии назывались имена убийц — одним из них оказался бурмистр Иван, тот самый, которого не раз ласково обнимал Михаил Александрович.

Максимов припомнил слова одного из гостей Стаховича: «Мужика разбалуеть, а потом на него и прикрикнуть не смей».

Как резануло тогда его слух это барское суждение!

И пословица припомнилась, которую произнес Якушкин, когда узнал, что они подгадали в Пальну к самому празднику: «Счастливей к обеду попадает, а роковой под обух...»

Убийство Стаховича не случайно было истолковано кем-то из ловких журналистов как акт мщения крепостнику. В атмосфере взаимного недоверия, воцарившейся

в помещичьих имениях между владельцами и мужиками накануне реформы, даже незначительные стычки кончались трагически. Крестьяне, прознавшие о готовящемся освобождении, ревниво следили за действиями господ.

Многие дворяне старались в эту тревожную эпоху отсидеться подальше от своих поместий, препоручив вести дела своим управителям из крепостных, таким, как убийца Стаховича Иван. А эти ушлые мужички, не хуже других осведомленные о грядущей «эмансипации», стремились потуже набить карманы в «остатние времена».

В прессе на все лады обсуждались случаи насильственного сведения счетов с помещиками. Одни видели в этом предупреждение властям, «поспешившим» с крутыми переменами, другие приветствовали подобные расправы как свидетельства роста народного самосознания.

Литераторы тоже не остались в стороне от темы насилия в деревне. Максимову запомнился вечер у Писемского, когда хозяин делился с друзьями планами написания драмы из крестьянской жизни. Центральными эпизодами произведения должны были стать противоборство и даже дуэль между помещиком и крепостным на любовной почве. Прослушав изложение сюжета, кто-то категорично сказал:

— Не пропустят на сцену. Сегодня, когда крепостная масса возбуждена, когда обе столицы наполнены крестьянами-отходниками...

Максимов сопоставлял теперь эти события, и ему становилось горько оттого, что на доброе имя Стаховича легла тень, что в дни великого перелома кто-то может забыть о вкладе его в дело освобождения народа — не о нем ли думал Михаил Андреевич, радея о сохранении его культурного наследия?

## НА КРАЮ СВЕТА

**У**ниверсальный книжный магазин Кожанчикова, открытый в марте 1858 года на самом бойком углу Невского проспекта — против Публичной библиотеки, — быстро стал излюбленным местом встреч образованной публики, своего рода клубом, где можно было обсудить литературные и политические новости.

Хозяин нового заведения прослужил несколько лет управляющим конторой журнала «Отечественные записки», выпускавшегося А.А. Краевским. Сведя знакомство со многими известными писателями, обучившись у своего патрона непростой механике издательского дела, Дмитрий Ефимович Кожанчиков и сам решил попытаться счастья на этом поприще. Одновременно с открытием магазина он занялся книгоиздательством. Первой книгой, напечатанной фирмой Кожанчикова, был роман Писемского «Тысяча душ», имевший шумный успех. В числе произведений, приобретенных книгопродавцом у петербургских писателей для выпуска в 1859 году, были «Обломов» Гончарова и сочинение Максимова «Год на Севере».

Книга о путешествии по Архангельской губернии вышла двумя объемистыми томиками. Как только Кожанчиков известил автора о поступлении тиража из типографии,

тот примчался в магазин. Ему не терпелось посмотреть на своего первенца.

Тут же в зале Максимова окружили друзья и знакомые, начались поздравления. Одна за одной подписанные автором книги переходили в руки первых читателей. Собрав бороду в кулак, Кожанчиков с лукавым азиатским прищуром долго смотрел на толкотню любителей автографов. Потом негромко сказал — так, чтобы слышал один Максимов:

— А первый экземпляр по справедливости надо было Константину Николаевичу поднести... Не бывать бы, Сергей, твоей книге, если б не он...

Писатель и без этой подсказки собирался ехать к великому князю, поддержавшему его кандидатуру в пору организации «литературной экспедиции». Друзья, в том числе и Кожанчиков, не знали о том, что Константин Николаевич, познакомившись с отрывками из книги о Севере, помещенными в «Морском сборнике», пригласил к себе Максимова и предложил ему поехать в новую командировку за счет Морского министерства. На этот раз — на реку Амур, только что ставшую пограничным рубежом между Российской империей и Китаем...

Секретарь великого князя Александр Васильевич Головнин, молодой мужчина с гладко выбритым лицом, быстро поднялся из-за стола, когда Максимов вошел в приемную. Сдержанно кивнув писателю, скрылся за массивной резной дверью. Выйдя от патрона, сказал:

— Великий князь ждет вас.

Высокий блондин с отличной выправкой, затянутый в морскую форму, стоял у окна, глядя на Неву. Когда Максимов вошел, он заговорил:

— Любуюсь на новые пароходы, Сергей Васильевич. Эх, если б меня послушались да переоснащение флота лет на пять раньше затеяли! Не бывать бы британцу и галлу в Севастополе.



На серой глади реки четко выделялись красные мазки судовых ватерлиний. Закованные в броню корпуса, прорезанные пушечными портами, выглядели как неведомые чудища, всплывшие со дна морского.

— Непривычно для глаза. Нет того изящества форм, что у парусников. Да и в сравнении с прежними пароходами... Мачты совсем хилыми кажутся.

— То ли вы еще скажете, когда увидите наши новые канонерки. Целиком из железа. И... без гребных колес...

Максимов выразил на лице непонимание. Константин Николаевич улыбнулся и сказал тоном заговорщика:

— Движение осуществляется с помощью винта, расположенного в корме. Крохотного винта с шестью лопастьями! — Великий князь воинственно прищурился и погрозил пальцем в окно. — Погодите, господин Израэли, мы еще посмотрим, быть или не быть России морской державой...

Когда Максимов вручил руководителю министерства свою книгу, Константин Николаевич сказал, что прочел все номера «Библиотеки для чтения», где печаталось окончание «Года на Севере», и получил подлинное наслаждение. Книга принадлежит столько же изящной словесности, сколько и науке. Из всех сочинений, представленных участниками «литературной экспедиции», это наиболее выдающееся. Как председатель Русского географического общества, великий князь ходатайствовал о присвоении труду писателя золотой медали.

Максимов растерялся от столь щедрых похвал. Его смущение усугубило то, что и Головнин, обычно неразговорчивый, обращавшийся с посетителями с видимой холодностью, сердечно поздравил с выходом книги, выразил готовность моряков прислушаться к любым просьбам писателя, субсидировать его поездки.

— А что касается до Амура, то мы учли трудность предстоящей вам миссии и решили вдвое увеличить денежное

содержание против того, что вы получали на Севере. К тому же вам будет выплачена определенная сумма на подъем и прогонные.

— Да-да, Сергей Васильевич, — ободряюще улыбаясь писателю, говорил Константин Николаевич. — И бумагами на этот раз мы вас снабдим устрашающими...

— Зачем же? Мне и так не раз выкручиваться приходилось из трудного положения, когда за ревизора принимали.

— А-а, тут-то я вам и раскрою секрет... — хитро переглянувшись с Головниным, проговорил великий князь. — Я запомнил ваш рассказ о том, как вас к самому интересному не подпустили — к монастырской тюрьме на Соловках. Теперь я хочу дать вам официальное правительственное поручение... Такого ни один пишущий человек не достаивался... Ознакомьтесь с бытом каторжан и ссыльных всех категорий — уголовных, государственных, и прочая, и прочая...

От удивления Максимов ни слова не мог вымолвить.

— Да-да, вы получите самые широкие полномочия по осмотру острогов, тюрем, будете допущены к архивам и официальной переписке... Или, может быть, я напрасно все это говорю и вы вовсе не намерены?..

— Нет-нет, ваше императорское высочество! — горячо возразил Максимов. — Но все так неожиданно... Это... это просто подарок, какой же писатель откажется...

— Ну так с Богом, Сергей Васильевич. И советую побыстрее отправляться. Знающие люди говорили мне, что вам надо до самых сильных морозов добраться до Забайкалья. Перезимуете, объедете узилища наши, а как лед сойдет, по Амуру к океану двинетесь...

— Я на подъем легок, ваше императорское высочество. А на добром слове спасибо.

Месяц спустя Максимов стоял на палубе парохода «Телеграф», принадлежавшего волжскому обществу

«Самолет», и смотрел на уплывающие к горизонту разноцветные павильоны и шатры Нижегородской ярмарки. Позади был путь по чугунке от Петербурга до Москвы, а затем два дня гонки на тройках до Нижнего, по маршруту, пройденному еще в пятьдесят пятом году.

Писатель припоминал все, что удалось ему узнать в Морском министерстве, прочесть в журналах и газетах относительно начинавшегося теперь заселения Амура. Слишком много разноголосицы было и в мнениях печати, и в казенных бумагах. Одни считали действия генерал-губернатора Восточной Сибири слишком непродуманными и поспешными, другие, напротив, ставили его в пример нерешительным и ленивым российским администраторам. Спорными представлялись и предлагавшиеся методы освоения Амурского края.

Запутанность проблем Дальнего Востока виделась Максиму следствием того, что вопрос о колонизации уходил корнями еще во времена землепроходцев. В XVII веке Поярков и Хабаров основали на берегах великой реки несколько острогов. Существовало даже Албазинское воеводство, собиравшее ясак с местных народов, признавших власть «Белого царя». Но силы русских были невелики, и когда манчжуры предприняли в 1680-х годах осаду Албазина, им удалось навязать московскому правительству подписание Нерчинского договора, которым Приамурье объявлялось буферной территорией между двумя государствами. Наиболее удобный водный путь, связывавший Забайкалье с океаном, был потерян. Несколько русских посольств, посетивших Пекин после 1689 года, когда был подписан договор в Нерчинске, ставили перед цинскими императорами вопрос о его пересмотре, однако Китай не соглашался, хотя никакого хозяйственного освоения Амура его подданные не вели, не было здесь и китайских поселений.

Только в результате начавшейся экспансии западных держав на Дальнем Востоке правительство Небесной империи стало осознать, что, пойдя на точное разграничение государственных территорий между Россией и Китаем, оно обезопасит себя от натиска Англии, Франции и США с Севера. Тем более что военные флоты этих держав уже давно рыскали возле устья Амура, представлявшего собой идеальный водный путь для проникновения в северные провинции одряхлевшей империи.

Правительство Николая I вело весьма осторожную политику в отношении соседней страны, но развитие политической ситуации в мире заставляло его быть более решительным. Англия и Франция, силой оружия вынудившие Китай открыть ряд портов для торговли с Западом, в любое время могли заявить об установлении своего суверенитета над устьем Амура. Развязку событий ускорили не санкционированные из Петербурга действия командира военно-транспортного судна «Байкал» Г.И. Невельского. 1 августа 1850 года он основал в устье Амура пост Николаевский и поднял русский военноморской флаг.

Особый комитет, рассматривавший проблемы Амура, пришел в ужас от этой «авантюры», чреватой международными осложнениями. Невельского предложили разжаловать в матросы. Но Николай I не утвердил этой меры, напротив, заявил: «Где русский флаг раз поднят, он опускаться не должен». Невельскому было поручено возглавить Амурскую экспедицию, которая приступила к исследованиям летом 1851 года. За три последующих года русские моряки основали ряд новых постов, в результате земли, прилегающие к амурскому устью, а также Сахалин вошли в состав Российской империи.

Успехи в приобретении новых территориальных владений во многом обеспечил генерал-губернатор Восточ-

ной Сибири Н.Н. Муравьев, чрезвычайно энергичный, талантливый и дальновидный политик. Он не пасовал перед трудностями многомесячных путешествий и во многих направлениях изъездил край, вверенный его руководству. Он же неизменно поддерживал «авантюры» Невельского. В 1854 году генерал-губернатор лично возглавил первый сплав по Амуру. От Сретенска в Забайкалье к Николаевскому посту прошел караван судов и плотов, ведомый пароходом «Аргунь», специально построенным для экспедиции.

Это были своевременные меры. Начало Крымской войны обострило обстановку на Дальнем Востоке. База российского флота Петропавловск-на-Камчатке подверглась в августе пятьдесят четвертого года нападению англо-французских военно-морских сил. Незадолго перед тем в город прибыли войска, сплавившиеся по Амуру, а затем переправленные через Охотское море. Подкрепление позволило гарнизону Петропавловска разгромить вражеский десант.

На следующий год главную военно-морскую базу России на Востоке перенесли в устье Амура, сюда были перебросены части с Камчатки, а также прибыли пополнения во время второго сплава, и на этот раз возглавленного Муравьевым.

Генерал-губернатор Восточной Сибири еще в 1851 году поставил перед Петербургом вопрос о создании крупных военных сил за Байкалом и предложил образовать новое казачье войско. Правительство поддержало этот план, и опять-таки решение оказалось своевременным. К началу Крымской войны забайкальское казачество насчитывало около 50 тысяч штыков и сабель. Этим силам предстояло и первоначальное заселение левобережья Амура.

Военные посты, устроенные для обеспечения движения к устью Амура и обратно, появились весной 1856 года.

А осенью была учреждена так называемая Амурская линия, которую предполагалось заселить казаками с их семьями.

В ходе очередного сплава Муравьев вступил в переговоры с чиновниками Небесной империи в Айгуне, китайском административном центре на правом берегу Амура. 16 мая 1858 года они завершились подписанием договора о признании сложившегося территориального деления между двумя империями. Через две недели положения Айгуньского трактата были закреплены Тяньцзинским договором. Путь к массовому заселению Приамурья русскими людьми был открыт.

Но в русской прессе высказывались противоположные точки зрения о способах предстоящей колонизации. Эти мнения отражали несогласия и в правительственных сферах. Одни считали, что Амур можно осваивать малыми средствами, уповая на плодородие земель и богатые природные ресурсы края. Другие полагали, что нужно учесть опыт колонизации Америки — как положительный, так и отрицательный — и сразу «строить навек». В «Морском сборнике» была напечатана статья Дмитрия Завалишина, декабриста, отбывшего срок на каторге и теперь жившего в Чите, центре Забайкальской области. Автор считал, что пора покончить с порочной системой покупать на медные гроши великие предприятия. Его позиция обуславливала необходимость значительных ассигнований из государственного бюджета.

Великий князь Константин Николаевич, возглавлявший секретный комитет по «крестьянскому делу», готовивший освобождение от крепостной зависимости, проявлял особый интерес к проблеме Амура. Освоение новых земель предстояло проводить прежде всего силами свободных граждан — не так, как в давние времена, когда заселение Сибири производилось в значительной степени

за счет преступных элементов и проштрафившихся крепостных, которых «сбыл с рук» барин.

Максимова просили взглянуть на дело беспристрастно, выяснить, как сам народ оценивает организацию переселения. Ведь писателю предстояло прибыть на Амур в первые недели его заселения первыми партиями крестьян из центральных губерний России...

В Казани началась сухопутная часть маршрута. Многие тысячи верст, сотни почтовых перегонов предстояло преодолеть писателю до Иркутска, где он намеревался завершить начальную часть своего путешествия.

Потянулись долгие дни, складывавшиеся в недели. Бесконечный звон бубенцов, грохот колес, монотонное пение ямщика, удары и толчки, отдающиеся во всем теле, пыль, лезущая в глаза, в рот. И многочасовые сидения на станциях в ожидании лошадей.

Максимов перестал со временем отличать одного смотрящего от другого, и даже названия станций, прилежно записанные в дневнике, по прошествии нескольких дней уже не вызвали никаких ассоциаций. Все слилось, отпечатавшись в сознании как некая неизменная декорация, размноженная в бесконечном числе... Казенный почтальонский сюртук с медными пуговицами... Рука, перепачканная чернилами, вписывающая подорожную в толстый фолиант... Неизбежная жалобная книга на шнурке, пригвожденном к столу огромной сургучной печатью... Приказы в черных рамках за стеклом, засиженным мухами... И даже тексты приказов одни и те же: запрещается брать излишних лошадей сверх числа их, указанного в подорожной, на такой-то версте яма, на такой-то овраг, а на такой-то гать, не удобная для проезда в осеннее время.

Единственное занятие в часы ожидания — листать жалобную книгу, заполненную проклятиями сибирских

купцов, спешивших на Нижегородскую ярмарку. Можно и самому вписать вопль душевный, ежели есть охота в сочинении сильных и жалостных фраз. Можно предаться мрачным обобщениям, можно подискутировать с таким же несчастным, застрявшим за тысячи верст от дома. Неопытного чиновника, впервые едущего в дальнюю командировку, можно просветить о причине задержки:

— Да я, сударь, сделавши по России несколько десятков тысяч верст, мало верю в эти сидения на станциях. Тут или стачка зрителя и почт-содержателя с ямщиками, или простое желание взять на водку лишнее: лошади в хомутах и в конюшне, хотя они по книге и в разгоне. Да и бешеная скорость езды приятна и выгодна может быть иркутскому курьеру, нужна московскому купцу, спешающему в Ирбит или в Тюмень, а долговременное сидение на станции неприятно может быть только нервному и раздражительному человеку, но таких людей почасту и самая скорая езда не удовлетворяет.

Обычно такое причтение себя и визави к сонму философов жизни несколько успокаивает нетерпеливца. Зато пробуждает в нем нечеловеческий аппетит. Следует немедленное требование к зрителю подать означенные в прејскуранте щи, жареного рябчика, бекасов и прочие соблазнительные яства. Но алчущего непременно обескураживает флегматичный ответ: могу предложить яичницу-скородумку. Следует новый взрыв, борец за справедливость и комфорт кричит, что он по самые печенки наполнен этой проклятой яичницей. Почему везде и всюду яичница, тысячи верст преодолеваешь, чтобы поспеть от одной яичницы к другой! И снова корябает ржавое перо рыхлую бумагу жалобной книги, разбрызгивая по странице, по столу бесчисленные кляксы...

Ни читать, ни вести сколько-нибудь подробный дневник возможности не было. Телеги, брички, наполненные



людьми помещения станций, постоянные дворы, где не имелось даже столика или бюро, чтобы разложить бумаги, удобно устроиться с чернильницей и пером. Зато была бездна времени, чтобы предаваться мыслям о прошлом и будущем, об оставленных друзьях, о судьбах России.

Теперь все рассуждают о путях государства, о грядущих переменах. Насколько изменилось все за несколько лет! При Николае Павловиче жили как-то больше частными интересами — как поприятней время провести, как дельце выгодное проверить. И сейчас не без этого, но политика отодвинула невинные радости на дальний план. Все бросились на журналы, газеты, а уж если прознают, что есть у тебя «Колокол» лондонский, из рук рвут.

За два с половиной года, прошедших после возвращения Максимова с Севера, появились новые писатели, старых кумиров позабыли, скажи кому-нибудь, далекому от журналистики, что Греч еще жив, удивятся безмерно. Кажется, что и он, и Сенковский, и «Северная пчела» с «Репертуаром и пантеоном» существовали в какие-то давно прошедшие времена. «Москвитянин» погодинский тоже дух испустил, не выдержал конкуренции катковского «Русского вестника», который так и мечет обличительные громы. А теперь «Пчелку» эта участь ждет, совсем подписчиков растеряла. Зато новых изданий — как грибов после дождя. Раньше было-то полдюжины журналов да две-три газеты. А теперь за один только 1858 год около шестидесяти новых названий появилось. И едва ли не половина из них — сатирические листки. Все и вся стало предметом насмешек и обличений. Хорошо! Возьмешь журналец, есть на чем взгляд остановить, каких только забавных физиономий не нарисуют. И ведь похожи на таких персон, о которых прежде и шепнуть-то боязно было!

На этот год тоже больше тридцати разрешений на издание журналов и газет получено. Василий Курочкин с

художником Николаем Степановым начали выпускать еженедельник с карикатурами «Искра». Граф Кушелев-Безбородко вложил все свои деньги в большой журнал «Русское слово». Так что теперь у «Современника» влиятельные союзники появились. Вместе с герценовским «Колоколом» это силища! В нынешние времена гласности и обличительства каждый честный печатный орган может сыграть роль руководителя совершающихся перемен.

Максимов видел все эти журналы на столе у Константина Николаевича. Великий князь, не скрываясь, держал у себя в кабинете и «Колокол». Не раз заставлял писателя и Головнина с книжкой «Полярной звезды» в руках. И заключал из этого, что в правительственных кругах прислушиваются к критике из Лондона. Во всяком случае, «Морской сборник», изъятый по ходатайству Константина Николаевича из ведения общей цензуры, отражал взгляды, весьма близкие издателям-эмигрантам.

А как бурно проходили иные из заседаний Русского географического общества! Выступавшие откровенно говорили о бедах России, о необходимости реформ. Председатель общества привлек к работе таких известных общественных деятелей, как К.Д. Кавелин, А.П. Заблочкин-Десятовский, Я.К. Грот, Н.А. и Д.А. Милютины. Вступили в Русское географическое общество и несколько бывших петрашевцев — Е.И. Ламанский, А.И. Макшеев, Н.Я. Данилевский. С последним из них Максимов не раз беседовал перед поездкой на Амур. Николая Яковлевича, занимавшегося изучением рыбных богатств России, интересовали перспективы развития промыслов на Востоке, и он просил Максимова примечать все заслуживающее внимания...

По мере удаления от Волги ландшафт становился более холмистым. Когда же перед глазами путешественника начали разворачиваться горы, пейзажи, один картиннее

другого, он пожалел, что не владеет палитрой и кистью. Стал было набрасывать в дневнике описание красот природы, но только разозлился на себя за бессилие передать буйство осенних красок. Лесистые склоны, залитые золотом, пламенеющие под осенним солнцем осиновые рощи, извивающиеся серебристыми змейками реки в долинах, хрустальный воздух, позволявший различить мельчайшие детали в далеких селах, рассыпавшихся у подножия гор, — можно ли отобразить на бумаге ощущение грандиозного праздника жизни, охватывающего душу при взгляде на землю с подоблачной высоты!

Никогда не бывавший в горах, Максимов переживал подъем, тяготы пути словно бы перестали донимать его, думалось не столько об оставленном позади, сколько о неведомой дали, ждущей впереди. Но это длилось недолго. Зарядили дожди, стало заметно холодать, золото листвы повалило с деревьев. В считанные дни установилась глухая осень со всеми ее прелестями, которые хорошо пережить в теплой избе, но которые едва выносимы в дороге.

За Екатеринбургом пришлось доставать из чемоданов зимнее обмундирование, а когда почтовый экипаж подъезжал к Тобольску, землю уже изрядно припорошило снегом. Крепкие октябрьские морозы, редкие в Европейской России, сковали льдом озера и прихватили мелкие речки. Но по Иртышу еще нельзя было переехать на низменный правый берег, и путник сделал остановку на несколько дней.

До цели путешествия было еще далеко, а материал для осмысления в записных тетрадях накопился немалый. Максимов посетил по пути несколько этапных тюрем. Унылые приземистые здания, выкрашенные желтой краской, кое-как отапливаемые, наполненные застойным зловонием, — от одного беглого осмотра их на целый день портилось настроение. Подавленность вызывали и

встречи с партиями кандалников, медленно тащившихся по осенней слякоти, глухо позванивая цепями.

Впереди этапников тарыхтит подвода, на которой, свесив ноги, сидит офицер, под волглой рогожей скрючились фигуры больных. Когда тройка, едва сдерживаемая ямщиком, обгоняет телегу, вдруг встретишься взглядом с глазами лежащего арестанта и содрогнешься — в них огромное что-то, бездонное, страшное. Покой, тяжелое безразличие — тебя нет для него, ты из иного мира, существо другой крови, как птица, черкнувшая небосклон. Что там, в заледеневшей душе? Сама мысль об этом обжигала все существо писателя, но его властно тянуло заглянуть в бездну: что ощущает человек, когда впереди бесконечная череда дней несвободы, как воспринимает беспредельность пространства, которое уже преодолел и которое лежит впереди? Преступление — оно осталось где-то в невообразимо далеком прошедшем, оно тоже принадлежит иной жизни, а ты, нынешний, раздавленный, что ты такое, неужели твое иное бытие — это плата за какие-то поступки в той давней, неправдоподобной уже жизни? В самой идее наказания было что-то отталкивающее жестокое, опустошающее душу... Но если он, тот, с кем ты сейчас обменялся взглядами и на мгновение ощутил себя в его шкуре, если он страшный насильник, кровопийца, неужели можно оставить его без возмездия? Или так устроено мироздание, что зло порождает зло? Эти неразрешимые, пугающе многосмысленные вопросы способны довести до отчаяния...

Когда Максимов переправился за Иртыш и двинулся в дальнейший путь по Барабинской степи, зима уже хозяйничала на дорогах. На смену бричкам и телегам пришли лакированные санки и плетеные кошевы. Да и характер ямщика здешнего говорил о том, что началась настоящая, или, как тут говорили, каленая, Сибирь.

Сговариваясь о цене, Максимов с удивлением отмечал, что барабинские возчики почти не торгуются — двух-трех фраз оказывалось достаточно, чтобы порешить дело. Как не вспомнить было долгие баталии с троечниками коренной Руси. У Рогожской и Крестовской застав Москвы торг начинался порой с острот и взаимных попреков, а кончался рукоприкладством. Видел Максимов, как разгневанные проезжие тащили ругающегося ямщика в полицию. Да и самому ему пришлось выслушать как-то раз занятную «философскую формулу»:

— Где дело идет об деньгах, там без крику, без драки нельзя! Деньги — дело жаркое и щекотливое. Мне меньше взять не хочется, седоку дать больше не трафится, вот мы и снимемся — подеремся и поругаемся. А тот и ямщик — не ямщик, который на съезжей не ночевывал.

Разница между сибиряками и москвичами, может быть, тем объяснялась, что здешние владельцы троек жили приметно богаче. Огромные избы-пятистенки, срубленные из кондового леса, гулкие крытые дворы — повети, пахнущие сеном и конским потом, наполненные мычанием и блеянием скота, кудахтаньем кур, доносящимся из хлевов и овшеников. Амбары, уставленные десятками бочонков, коробов и туесов, увешанные говяжьими тушами и поленьями мороженных сигов. Закрома, засыпанные янтарным зерном. Столы в избах ломились от вкусной снеди — жирные щи, пироги с рыбой и неизбежные пельмени встречали путешественника, в какой бы час дня он ни приехал. Чистые и теплые горницы, украшенные расшитыми полотенцами и богатыми киотами, тоже выгодно отличались от жилищ родины писателя.

Когда, переночевав в таком домище, Максимов выходил поутру на двор в привезенном с собой тулупе, двое-трое молодцов в собачьих дохах кое-как удержива-

ли бешеную тройку, грохотавшую копытами по плахам настила.

— Эй, живей, барин, громоздись в кошеву!

Писатель бросался в плетенку, заполненную сеном, следом валился ямщик в пестрой лохматой дохе и красных валенках с белым крапом.

Пока возница барахтался, задрал ноги, и выпутывался из вожжей, кони срывались в отворенные ворота и, обезумев, взрывали сугробы на широкой улице, с громом налетая на углы попутных изб.

Вот ямщик совладал с вожжами, сел, потеряв в сене трух, но поздно — тройка вломилась в чьи-то отворенные ворота, взметнула по сторонам стаю кур. Взвизгнула под копытами розовая свинья, загремели опрокинутые корыта. А кони уже несут по заметенным снегом огородам, поднимая искрящееся облако. Гудят постромки, скрипит кошева, как шхуна в штормовом море, очумело заливаются колокольцы. И вдруг — пустота разверзается под сердцем, все летит куда-то в бездну. И сразу — удар. И сразу — полет. И снова бездна. И снова удар. Словно какая-то циклопическая рука схватила тебя и колотит о землю.

Но вот новый взлет, а удара за ним не последовало. Ты ухнул в белый пух, утонул в колючем холодном безмолвии. Издалека-далека несется слабый звон бубенцов...

Он выбирался из сугроба, с оторопью оглядывал широченную борозду, оставленную тройкой на склоне оврага, потом оборачивался в другую сторону и видел незадачливого ухаля, выползающего из снежного намета.

— Ты что, с ума сошел?!

— Счас робята мои прибегут, словят лошадок. Разберем упряжь — эх, любо-милу помчим!

Когда полчаса спустя под конвоем всей родни выводили тройку из оврага на тракт, путешественник, уже

пришедший в себя и смирившийся со своей участью, вопрошал:

— Отчего ваши лошади такие шальные?

— Оттого, что степные. Они у нас лето в степи гуляют на вольной воле, где хотят, оттого и сердитые такие.

— Однако если лошади ваши все бешеные, то и езда с вами на охотника!

— Да вот на такого, как и ты же!

— Я другой раз с вами не поеду.

— Поедешь, брат, не рассказывай. Эдак-то вот толковал красноярский купец в прошлом году, когда ему Фомка в овраге шею сломал, а нонче опять пробежал в Расею на наших лошадаках. Кому дело к спеху — такие завсегда с нами: почтовые возят хуже, а степь-то наша, вишь, она скучная какая!

Но и казенные ямщики были здесь не чета подмосковным. Не сносила их натура тихой езды, не «ндравило» им на паре, как в подорожной записано, ездить. От себя, без приплаты, припрягали они третью лошадь. И опять летели версты, свистел ледяной воздух, хватая за нос и щеки так, что опрокидывался седок лицом в кошеву, прятал его в овчинном воротнике.

К чему не привыкнешь. За несколько дней Максимов так разохотился на сибирскую езду, что иного ямщика еще и подзадорит:

— Эх, не так меня под Омском везли!

И снова ликовало сердце от сверка отшлифованных копыт, от острого чувства опасности, когда на поворотах швыряло возок на высокий снежный бруствер...

Вот она, русская Америка! Зачем нам ходить за опытом освоения на ту сторону океана? Сибиряк выстроился основательно, крепко, огромные села кишат детьми — здоровыми, краснощекими. Мужики — красавцы и силачи, как на подбор! А задорные и стройные

сибирячки! И такой народище вырос здесь за две-три сотни лет.

Да, любит сибирский человек гульнуть, любит пустить пыль в глаза. Но отчего не пофорсить, не покрасоваться, если силушка есть, коли есть на что. Видел Максимов, как летели на свирепых тройках томские золотопромышленники, как брызгали во все стороны пригоршни серебряных монет, как полосовали дорогу пенные струи французского шампанского.

— Хочу, чтоб лед золотой был! — кричал детина с русой лопатообразной бородой, в распахнутой рысьей дохе. — Эф тот след, православные, до самой Москвы пойдет, потому Гаврила Бастрюков едет!

Не только размашистые натуры туземцев увлекали воображение писателя, рисовавшего себе будущее России больше в образах, чем в умозрительных обобщениях<sup>1</sup>. Как нельзя лучше подходила для передачи его эмоций гоголевская «Птица-тройка». Он наизусть знал этот проникновенный гимн, и в эти дни, за тысячи верст от тех мест, которые вдохновили автора «Мертвых душ», многократно повторял его. Какой провидческой силой дышали слова гения, какой единственно точный образ нашел он, чтобы передать главные черты русского духа! Мечтательность, ибо дорога — это всегда олицетворение мечты, стремления куда-то вдаль. Вольнолюбие — в охмеляющей тяге к

---

<sup>1</sup> Потомки крестьян из коренной Руси, вынесших тяготы колонизации девственного края, поднявших вековую целину, они олицетворяли для писателя выносливость и жизнелюбие русского человека. Подвиг мужика-переселенца, сумевшего превратить Сибирь в хлебородный край, уберечьшего высокую культуру, грамотность, традиции за тысячи верст от родных мест, вселял надежду на то, что русская деревня, освобожденная от крепостнических вериг, достигнет того же довольства и процветания, что и сибирское крестьянство...



простору, к бесконечности. Удаль, отвага — не та же ли сладкая бездна разверзается под сердцем, когда летишь на горячей тройке и бежишь со штыком наперевес в цепи, грохочущей «ура!»...

Размах сказывался и в том, как построились сибирские города. Земли не жалели, каждый дом отбежал от другого на порядочное удаление. Особенно вольготничали по этой части в Красноярске. И денег, по всему было видно, не жалели — бревенчатые хоромы изукрашивали столь затейливой резьбой, что казалось: стены кисеей занавешены. Каменные дома и церкви возводились добротные, солидные по архитектурному замыслу. Томск, тот просто очаровал Максимова красотой своих улиц, прекрасным ансамблем административных зданий.

И образованное общество в больших сибирских городах произвело на писателя самое отрадное впечатление. Здесь не было чванства, все держались просто и демократично, без присущих российской провинции поползновений в светскость. Много читали — в каждом доме можно было найти целый ворох свежих номеров петербургских и московских журналов. Когда Максимов остановился в Томске, его «догнала» октябрьская книжка «Русской беседы» с помещенным в ней письмом Павла Якушкина. Неугомонный ходячий рассказчик о своих злоключениях в Псковской губернии. Собирателя народных песен арестовала полиция только за его простонародный наряд, «неприличный» для дворянина, имевшего к тому же чин губернского секретаря. Опять подвели очки Павла Ивановича?! Больше недели провел писатель в смрадных кутузках, терпя самое беспардонное глумление над своим человеческим достоинством.

Якушкинская история была перепечатана чуть не во всех органах русской прессы и стала поводом для первого массового протеста общественности против

произвола, против попрания элементарных прав человека. Павел Иванович стал знаменитостью. Круги этой всероссийской популярности доходили и до Сибири. Уже в Забайкалье Максимов перечитал все доступные ему журналы и газеты, узнал и об откликах молодежи на эту демонстрацию печати, и о том, что фотографические карточки Якушкина стали ходовым товаром у всех книготорговцев...

Иркутск встретил путешественника столбами дыма над тысячами печных труб, заиндевевшими кронами деревьев. Стояли трескучие морозы, слишком лютые даже для начала декабря. Писатель вспомнил слова Константина Николаевича о том, что надо добраться до столицы Восточной Сибири, пока не начались самые холода. Действительно, в такую стужу ездить за тысячи верст под силу разве что бойцам вроде «золотишника», поливавшего шампанским наезженный тракт.

Город, расположенный, в основном, на низменном берегу Ангары, полукольцом охватившей жилые кварталы, выглядел вполне цивилизованным. Много зданий хорошей архитектуры, шегольские лакированные санки на улицах, модные магазины и книжные лавки. Но главным отличием среди других виденных Максимовым губернских городов были храмы инославных исповеданий, возносившиеся над центральными улицами, — сложенный из красного кирпича католический костел, не менее экзотическая лютеранская кирха. Очевидные свидетельства национальной пестроты иркутского населения — после 1830 года Восточная Сибирь стала местом ссылки польских повстанцев, на административной службе было много прибалтийских и петербургских немцев...

Передохнув в жарко натопленном номере гостиницы, Максимов отправился представляться генерал-губернатору. Муравьев принял его без промедления — то

ли упреждающее письмо из Петербурга подействовало, то ли уж таков был характер хозяина Восточной Сибири, не терпевшего волокиты, не любившего чиновной фанаберии.

По внешности генерал-губернатора можно было принять за помещика средней руки. Слегка одутловатое лицо с бакенбардами, капризно оттопыренная нижняя губа, мешки под глазами. Типичный завсегдатай ярмарочной биллиардной. Но именно этот человек только что был возведен в графское достоинство за свои выдающиеся заслуги по укреплению российской государственности на Дальнем Востоке.

Рассказывая об Амуре, Муравьев с гордостью называл цифры, призванные произвести впечатление грандиозности: одна из длинейших рек континента, самые лучшие черноземы на востоке страны, самые богатые рыбные запасы. Прибавка к его фамилии, пожалованная вместе с титулом — Амурский, — как нельзя лучше подходила патриоту новоприобретенного края.

Генерал-губернатор был явно рад свежему человеку из Петербурга. Теперь граф развивал перед Максимовым свои далекоидущие планы, нимало не смущаясь их утопичностью.

— Первоочередное дело — проложить железную дорогу до Иркутска, а потом, с Божьей помощью, и до Амура дотянем.

— Но ваше превосходительство, это... вряд ли осуществимо. До Нижнего Новгорода — и то на тройках ездим по-старому. А там ярмарка миллионами пудов ворочает!

— Если мы, русские, сумели лучшую и самую протяженную в мире дорогу от Петербурга до Москвы построить, то и на Сибирскую чугунку замахнуться можем. Нечего на Америку и на Европу кивать, надо не в хвосте у них тащиться, не догонять, а своим путем идти.

Муравьев внимательно слушал рассказы Максимова о происходящем в Петербурге общественном движении, задавал вопросы, которые свидетельствовали о хорошем знании проблем страны, характеризовали графа как сторонника либерального курса. Особенно возмущали его крепостные порядки.

— Вы не думайте, драгоценный Сергей Васильевич, что крепостное право — это там, в России, а здесь — воля вольная. Наши крестьяне, особенно приписанные к горным заводам, не многим легче живут, чем преступники, каторжные работы отбывающие. Таких вольных хлебопашцев около пятнадцати тысяч душ. Участь их представляет один из самых отвратительных видов крепостного состояния, несравненно более отяготительный, чем состояние преступников. Эти работники честного имени находятся в той же каторжной работе, но только гораздо более и из рода в род, и дети их начинают эту работу с двенадцатилетнего возраста. Я писал великому князю, что самые преступники, на заводах работающие, не получая достаточной пищи и одежды и находясь в управлении Горного ведомства, на которое ни местные губернские и земские власти, ни прокурор, ни жандармы никакого влияния не имеют, отягощены, конечно, более, чем строгость закона того требует... И заводы эти суть собственность его императорского величества!

Скольких несчастных облагодетельствовал Муравьев, воплотив в жизнь свою идею о создании Забайкальского казачьего войска! В него были зачислены ссыльнопоселенцы, досрочно освобожденные от каторги, крестьяне-раскольники, потомки тех, кто когда-то высылался из центральной России за верность старой вере. Из париев, из приниженного люда все они разом превратились в уважаемое воинское сословие, красу и гордость империи.

Энергичная деятельность Муравьева по освоению и преобразованию края напоминала по своему размаху многообразный труд М.М. Сперанского, бывшего в 1819—1821 годах предшественником нынешнего генерал-губернатора. Да и широта взглядов графа была под стать воззрениям знаменитого законодателя. То ли везет Сибири на хорошие головы, думал Максимов, то ли сам размах ее формирует стиль мышления администраторов...

Либерализм Муравьева-Амурского проявлялся и в его благожелательном отношении к ссыльным государственным преступникам. Декабристы, отбывшие каторгу и проживавшие на поселении, пользовались значительной свободой.

Муравьев пригласил к себе на службу сына Сергея Волконского, родившегося в Петровском заводе. Двадцатилетний администратор ведал переселением на Амур из европейских губерний. С Михаилом Сергеевичем писателю предстояло общаться по всем вопросам, связанным с переселенческой проблемой. От него он надеялся узнать много нового о жизни декабристов на каторге и на поселении.

Узнав о намерении писателя собрать материалы о государственных преступниках, граф охотно согласился помочь. Рассказал о тех немногих декабристах, еще оставшихся в Восточной Сибири, которые могли бы содействовать Максиму в его деле.

Декабрь и январь — самые холодные месяцы — путешественник провел в Иркутске. Приобретенные здесь знакомства позволили ему из первых рук получить сведения о судьбе многих знаменитых узников — участников польского восстания 1830 года, самозванцев XVIII века, высших сановников, попавших в опалу при царях Михаиле Федоровиче, Алексее Михайловиче.

Больше восьмидесяти лет прошло со времени бегства с Камчатки группы ссыльных во главе с авантюристом Беневским<sup>1</sup> и гвардейским капитаном Петром Хрущевым, а в Сибири продолжали рассказывать о захватывающих воображение похождениях отчаянных голов. Они прошли на похищенном судне вдоль Курил и Японии до берегов Китая, а затем добрались во Францию, где некоторые из беглецов поступили на военную службу, некоторые вернулись в Россию. Беневский же еще несколько лет слонялся по всему свету и закончил свои дни от пули туземца на Мадагаскаре, где провозгласил себя королем.

Много подобных историй, казавшихся фантастичными, услышал Максимов. Постепенно он перестал удивляться им — все здесь, в Сибири, было скроено на особую мерку. Куда труднее оказалось привыкать к новым и новым деталям каторжного быта, которые вырисовывались при расспросах бывших узников. Целый огромный мир предстал перед писателем. Вновь, как во время путешествия на Север, он осознал, что ему выпала миссия первым открыть русскому обществу как бы неведомую страну. Тюрмы, остроги, этапы, каторжные заводы — жизнь тысяч людей проходила в их стенах. Напомнить о страждущих, поведать о тех, кто остался верен своим убеждениям, явил образцы стойкости и самопожертвова-

---

<sup>1</sup> Мориц-Август Беневский, родом венгр, участник Барской конфедерации (1768—1772), вооруженного союза польской шляхты, направленного против короля Станислава Понятовского и России и выступавшего за сохранение привилегий католической церкви, шляхетских вольностей, против равноправия православных украинцев и белорусов с поляками католиками. Биография Беневского послужила материалом для ряда художественных произведений, в том числе поэмы Юлиуша Словацкого «Беневский» (1841).

ния, — такой видел свою задачу писатель. Будущая книга уже рисовалась его воображению — в ней он расскажет обо всем многообразии преступлений, о всех видах наказаний, начав с древности и проследив их историю до настоящего времени...

Быстро темнеет в начале февраля. Вершины заснеженных сопок по сторонам дороги сливаются с серыми облаками, злой монгольский ветер несет по теснинам тучи снега. Даже звон колокольцев то и дело пропадает, словно оторванный и унесенный пургой в ночь. Ямщик в пестрой собачьей дохе то и дело взмахивает кнутом над крупами лошадей. Фигура пассажира возка в тулупе и башлыке, опущенном на глаза, залеплена снегом. Нет уже в душе иззябшего путника страха перед разбойниками, постоянно внушаемого опасливыми ямщиками, осталось только желание поскорей оказаться в доме, наполненном теплом и светом.

К Чите, административному центру Забайкальской области, Максимов подъехал в полной темноте. Небольшое поселение, совсем недавно переименованное из острога в город, вытянулось несколькими улицами у слияния речушек Читы и Ингоды. Разыскать дом декабриста Завалишина оказалось совсем несложно.

Окна бревенчатой избушки у подножия сопки были освещены. На сугробах лежали тени оконных переплетов. Максимов прошел узкой тропкой, утонувшей в снегу, к заметенному крыльцу, постучал железным кольцом замка по металлической полоске, прибитой к двери. В сенях послышался скрип половиц, звякнула щеколда. Перед гостем вырисовался силуэт невысокого сухонького человека в огромных валенках.

— Милости прошу! — сказал хозяин, даже не спросив, кто и по какой надобности явился.

Когда они оказались на свету, Максимов поразился молодости декабриста — разве что несколько глубоких морщин выдавали его возраст. Писатель ожидал увидеть изможденного старика, ведь большую часть жизни Завалишин провел на каторге и в ссылке.

В уютной, жарко натопленной горнице хозяин помог гостю избавиться от заледеневшего башлыка и ставшего колом тулупа. Максимов вытащил из бороды и усов сосульки, утерся платком и принялся рассказывать о цели своего приезда.

— Я, Дмитрий Иринархович, по рекомендации графа Муравьева-Амурского к вам...

— Извещен, извещен... Да вы не извольте беспокоиться об этом. Давайте-ка с дорожки подкрепитесь, Сергей Васильевич. А уж потом об интересующих вас предметах поговорим.

Читая в Петербурге статьи Завалишина об Амуре, Максимов предполагал, что автор их окажет ему немалую помощь: он лично общался с казаками, бывавшими в новых поселениях, изучал экономическую сторону вопроса о колонизации края. Но беседы с Дмитрием Иринарховичем дали ему гораздо больше: Завалишин оказался хранителем памяти о декабристской эпопее, о крестном пути участников выступления против самодержавия.

Десятилетия каторги и ссылки дано было пережить немногим, в том числе Завалишину. Теперь в Забайкалье остались только трое из них — прочие разъехались. Максимов намеревался посетить и двух других — Ивана Ивановича Горбачевского, жившего на поселении в Петровском заводе, и Михаила Александровича Бестужева, за неимением средств застрявшего в Селенгинске.

О Завалишине рассказывали как о самом энергичном из декабристов, переживших каторгу, как о природном организаторе, умевшем с ничтожными средствами



добиваться значительных результатов на любом поприще. Недаром, когда в каторжной тюрьме, где содержались участники восстания, решили устроить артель или общину, то заведовать ее делами поручили Дмитрию Иринарховичу. Он занимался закупкой продовольствия, вел казну, заботился об устройстве быта товарищей по несчастью.

Как только Завалишин поселился в Чите, он разработал план рационального хозяйствования. Дмитрий Иринархович познакомил Максимова с его основными принципами: «1) Исследовать, что может производить данная местность, и не гнаться за невозможным; 2) считать рациональным в хозяйстве то, что разумно и полезно в данных условиях; 3) считаться со временем — дворец можно построить и скоро при огромных средствах, но для того, чтобы выросло дерево, нужны годы; 4) без прочного основания не предпринимать никакого дела; 5) не допускать, чтобы дело господствовало над хозяином, было бы наоборот; 6) не браться за дело наудачу».

Завалишин показал писателю свою ферму, где под его supervision разводили новую породу коров, приспособленную к условиям Забайкалья.

— Жаль, зимой вы приехали, Сергей Васильевич, — посоветовал декабрист. — Я бы вам свой сад и огород показал. Ведь те огурчики и соленые арбузы, что вы пробовали, — собственные, не покупные.

— Как же вы умудряетесь при коротком лете?.. В Иркутске мне как раз жаловались, что огородничество здесь слабо развито...

— Лениться поменьше надо. И подходящие культуры подыскивать... Вот взгляните — что это, по-вашему?..

— М-м... Если бы не размеры, я бы сказал, что передо мной зерно ржи, а вот это — ячмень, а это — чечевица. Но они втрое больше обычных...

— И вы не ошиблись, — победоносно задрал сухонький подбородок, сказал Завалишин. — Это гималайская черная рожь, а рядом — гималайский же ячмень. И — многоплодная чечевица. Все эти злаки я возделываю на своей земле. Правда, пока речь идет о первых опытах.

На сеновале Дмитрий Иринархович показал Максиму деревянные сооружения необычной формы.

— Извольте видеть, Сергей Васильевич, изобретенные мной молотильные катки. Никаких цепов. Зерно отбивается вчистую.

Писатель вспомнил допотопные орудия, которыми обрабатывали сжатый хлеб в черноземных губерниях. Вот гдегодились бы придумки декабриста!

— Вам, Дмитрий Иринархович, в Россию надо выбираться! Сейчас для передовых сельских хозяев хорошее время. Тех, кто на барщине да на оброке привык выезжать, верное разорение ждет, а тем, кто научные знания к делу применит...

Максимов умолк, увидев, как погрустнело лицо Завалишина.

— К кому и для чего я поеду? Ни имения, ни родных, все осталось в далеком прошлом да быльем поросло... Да ведь и здесь надо кому-то просвещение водворять.

Максимов хорошо знал о многообразной деятельности декабристов в Сибири. Они способствовали распространению агрономических знаний, открывали школы, занимались этнографическими исследованиями. Статьи самого Завалишина о проблемах заселения Амура также оказывали воздействие на принятие решений сибирской администрацией.

Об этой стороне жизни декабристов после 1825 года в России пока знали единицы. Само упоминание их в печати было строго запрещено свыше трех десятилетий. Тем больший интерес вызывало все связанное с их пребы-

ванием на каторге. Люди, олицетворявшие для передовых слоев общества идею революции, обновления, казались живой легендой. Максимова интересовали малейшие подробности, и Завалишин часами рассказывал о былом. Он позволил писателю ознакомиться с обширной перепиской, которую вел с товарищами по заточению. Особенно сильное впечатление произвели на Максимова письма Николая Александровича Бестужева. Крупная, самобытная личность их автора как бы символизировала нравственную высоту движения декабристов. Да и рукописные мемуары самого Завалишина, бережно сохраненные им записки Н.В. Басаргина, В.Н. Соловьева давали целостную картину подневольного житья, позволяли судить о духовном мире тех, кто вышел на Сенатскую площадь с мечтой об уничтожении монархии.

Рассказы Завалишина о женах декабристов, добровольно разделивших с ними изгнание, также заставили Максимова пережить своего рода нравственное просветление. Прикосновение к подвигу очищает, наполняет гордым сознанием безграничности сил человека. Он дал себе слово написать о самопожертвовании и верности русских женщин — они помогли узникам выстоять, собственным примером постоянно напоминали им о нелегком долге сохранить верность своим принципам перед лицом истории, перед будущим. Ибо для настоящего, для современников декабристы как бы и не существовали вовсе, на самое упоминание их имен было наложено табу. Как просто сломаться, когда живешь только в чаянии посмертного признания!..

Декабристы явили собой небывалый ранее тип узников, и Сибирь окружила их любовью, сочувствием. В народе их прозвали «князьями», сострадание к ним выражали не только простолюдины, но и представители верхушки общества: чиновники, военные, богатое купечество. Сами

губернаторы мирволили им. И даже среди тюремщиков немного нашлось таких, которые утесняли участников восстания. Завалишин приводил много примеров того, как люди делились последним, чтобы поддержать декабристов, старались сделать их жизнь сносной.

— Жаль, Сергей Васильевич, что вы Петровский завод и Селенгинск стороной объехали. Иван Иванович Горбачевский и Михаил Александрович Бестужев много вам порассказать могут.

— На возвратном пути с Амура, если Бог даст. Я ведь, Дмитрий Иринархович, должен обстоятельно каторгу и ссылку обследовать.

В Чите Максимов прожил до середины апреля, ожидая вскрытия Шилки, чтобы сразу же отправиться в трехтысячеверстный путь по реке. Приезжавших с Амура по санному пути он расспрашивал обо всех сторонах жизни переселенцев, интересовался, что нужно взять с собой для долгого путешествия. Много времени писатель проводил в местном архиве, изучая интересные дела, относящиеся к XVIII и началу XIX века: о знаменитых разбойниках, самозванцах и авантюристах. Его записные тетради заполнялись статистикой уголовных преступлений, рассказами о дерзких побегах и громких ограблениях, о способах совершения убийств, мошенничеств, о поджогах и воровстве. В особый фолиант Максимов записывал тюремный фольклор: песни, байки, пословицы. Здесь же появился раздел жаргона преступников — писатель не оставил давней своей мечты создать когда-нибудь словарь тайных языков. Теперь на расчерченных листах выстраивались сравнительные ряды офенского, кантюжного и тюремного говоров.

Едва в город приходили очередные номера газет и журналов, Максимов набрасывался на них. Новости, конечно,

можно было назвать свежими весьма условно — почта шла в Забайкалье по месяцу, по два, — но и они позволяли ощущать себя частицей большого мира, участником совершающегося процесса перемен.

Первым обычно узнавал о приходе почтового обоза Завалишин. Являлся к Максиму и с видом заговорщика показывал ему самые интересные статьи.

— Да вы поглядите только, Сергей Васильевич, что нынче тиснению предают. Ведь при Незабвенном за такое в глушь, к самоедам загнали б.

Покойного императора Дмитрий Иринархович всегда величал этим ироническим прозвищем — и никогда по имени. Так, объяснил он, повелось среди декабристов еще со времен каторги.

Максимов быстро проглядывал места, которые Завалишин отчеркнул своим длинным ногтем, и говорил:

— Что ни месяц, то либеральнее становится цензура. Давно идут слухи, что скоро ее вообще отменят в нынешнем виде. Предварительного разрешения на печатание книг и журналов не будет, в цензуру станут представлять уже готовые издания...

Завалишин нервно потирал руки и начинал быстро расхаживать своей стремительной офицерской походкой по гостиничному номеру. Весь облик его, аристократические повадки моряка александровского времени говорили об огромной нерастраченной энергии. Тесно было этому человеку в забайкальской глуши, душа его рвалась к большему, нежели насаждение турецких огурцов и гималайского ячменя.

Дмитрий Иринархович был первым, кто сообщил Максиму об откликах на его книгу, появившихся в столичной печати.

— Сергей Васильевич! — закричал он с порога. — Я вам не из лести говорил, что ваш «Год на Севере» — выдаю-

щееся сочинение. Смотрите, что журнал «Русское слово» пишет — сейчас только у почтмейстера получил... Нет, лучше я сам вам зачитаю, имейте же терпение.

Он раскрыл наскоро разрезанную книжку журнала и, отставив ее на вытянутой руке, начал читать:

— «Какая внутренняя сила двигает человеком, заставляя его еще мальчишкой шататься по лесам, уходить из дому так, без цели, без причины; не сидится ему дома, ему скучна мертвая книга, он ищет беседы с живой природой? И счастлив тот, кого природа наградила этой внутренней силой! Подчас нападет на него и грусть, а отчаяние, физические страдания осияют дух, но ненадолго; прошла усталость, и нравственная сила берет свое: снова начинается работа, и еще с большей силой, чем прежде. Господин Максимов принадлежит именно к числу этих счастливых». Каково?! Ведь почувствовал же этот господин... как его... Шелгунов... ведь прямо в точку попал. Зная вас, я бы под любым словом его подписался.

— Ну что вы, полноте, Дмитрий Иринархович. Как-то это выспренне... Внутренняя сила! Принадлежит к числу счастливых! Просто я делал свое дело, фиксировал все, что видел...

— Э, нет, не хитрите, не прикидывайтесь таким фотографом, дагеротипистом, знаем мы, как вы бесстрашны... Но дайте же дочитать. Сядьте смиренненько вон там в уголку и слушайте... Продолжаю: «Но он — то есть вы, Сергей Васильевич, — не из тех натур, которые чувствуют себя одинаково хорошо и на вершинах Гималая, и в пустынях Сахары, и в тундрах Архангельской губернии; его не займет микроскопическое исследование разницы лишая, найденного в архангельской тундре, с лишаем гималайским; господин Максимов не станет сушить травы для гербария, у него не останется тупого терпения для перекалывания растений из одной бумаги в другую;

господину Максимову нужна жизнь другая, предмет его исследований — человек». Великолепно! Читаю дальше: «Но своеобразность таланта господина Максимова заключается не в одном этом; в таланте его незаметно космополитизма, господин Максимов — человек места по преимуществу, он сроднился тесно с русской природой, с русской жизнью, он отлично чувствует и понимает ее, и в этом заключается секрет его силы и той поразительной верности, с какой он описывает быт русского крестьянина и простую, но осмысленную верным пониманием жизни и окружающих обстоятельств речь простого русского человека...» С такой рекомендацией, Сергей Васильевич, смело можно претендовать на внимание общественности к вашим мнениям. Целиком присоединяюсь к господину Шелгунову и сердечно поздравляю с успехом.

В начале апреля Максимов выехал из Читы в село Сре-тенское, где ему предстояло снарядить весельный катер для путешествия по Шилке и Амуру. Местные власти уверили писателя, что ему окажут всевозможное содействие, что судно будет проконопачено и просмолено как раз к вскрытию реки.

Пока шла подготовка к отплытию, путешественник не раз появлялся на берегу реки, где расположился огромный переселенческий лагерь. Сотни семей, год назад вышедшие из Тамбовской, Воронежской, Вятской и Пермской губерний, ютились в кое-как выстроенных балаганах и палатках. Мужики помогали солдатам сколачивать огромные баржи из бревен, вязать плоты, а бабы возились у камельков, готовя пищу на многотысячную ораву детей и взрослых, сновавших по истоптанному, замусоренному приречному пространству. Гурты коров, огороженные в загонах, оглашали окрестности голодным ревом, овцы, свиньи, куры мешались под ногами людей.

Писатель прислушивался к разговорам. Большинство колонистов, назначенных для заселения низовий Амура, говорили, что трудности долгого пути изрядно поумерили их тягу к новым землям. Если б можно было, многие повернули бы назад. Оборвались, обнищали, содержание от казны мизерное — страшно и подумать, что ждет их на местах водворения. Выдержит ли скот трехтысячеверстный сплав по реке? Как обойдутся они без многого, что начальство велит оставлять здесь, — мало-де места в баржах, не след с собой телеги грузить...

Скучали об оставленных родных краях — шутка ли дело, куда занесло! Самый край света.

Насмотревшись в Забайкалье на буддийских лам с бритыми головами, на шаманов с устрашающей татуировкой на лицах, выходцы из губернии, где ни о чем подобном и не слыхивали, полагали, что дальше увидят въяве самого Змея Горыныча. Но в уныние от этого не приходили, напротив, шутили и смеялись, как бы желая доказать свое презрение к опасности, ждущей их впереди.

Едва полая вода унесла лед, лодку спустили на воду. Несколько казаков заняли места на веслах. На берегу провожавшие писателя офицеры вскинули вверх руки с револьверами. Загремел беспорядочный салют. Быстрое течение подхватило суденышко. Сопки стали медленно поворачиваться, открывая новые и новые горные гряды.

Через несколько часов путешественник обновил чистую тетрадь — ее он намеревался заполнить наблюдениями на великом водном пути к океану. Поскольку Шилка, сливаясь с Аргунью, становилась собственно Амуром, писатель полагал себя вправе считать этот апрельский день началом своей амурской эпопеи. Он уединился в крохотной каютке, устроенной на манер тех, что имелись на поморских карбасах — пригодился здесь опыт первого путешествия по воде, — примостился у широкой скамьи



и записал: «Общие впечатления реки Шилки неблагоприятны. Раз задалась она известного рода картинками и потом на всем своем долгом протяжении и пошла писать все одно и то же, повторять одни и те же виды с ничтожными изменениями. Течет она прихотливо-извилисто; горы направо, горы налево, большею частью каменные, а иногда и сплошь каменные. Растительность не из богатых, деревья редки, отчасти, может быть, и оттого, что сильно вырублены. Может быть, там, за горами, деревья эти образуют сплошной лес, но на побережьях леса эти глядят решительными рощами. Там, где горы отойдут от воды и выдвинут вперед себя лощину, низменность, — станица стоит, село выстроилось».

Кто-то из гребцов позвал:

— Ваше благородие, слышь, Кара показалась. Ты сказать велел.

Максимов поспешно выбрался из каютки, поправил очки на носу. Устье небольшой речки, впадавшей в Шилку слева, можно было бы и не заметить, если б не приземистое бревенчатое строение, вытянувшееся на стрелке.

Писатель знал, что это за здание — госпиталь для каторжан. В пятнадцати верстах вверх по Каре находился самый дальний из острогов, к которому брели через всю Сибирь партии кандалников. Страшные карийские промыслы, подлинный край света. Еще три-четыре года назад дальше вниз по течению Шилки было всего несколько мелких поселений, за ними кончались русские владения.

Теперь, с началом освоения Амура, река стала своего рода оживленным трактом, по которому в обоих направлениях сновали суда и лодки с казенным людом. Вниз тянулись огромные плоты для безлесного среднего Приамурья, баржи со скотом, с зерном. Навстречу поднимались пароходы невиданной формы — с одним огромным гребным колесом на корме, с высоко поднятой

рубкой, похожей на скворечник. Совсем как на гравюрах, изображающих Миссисипи...

Все это шумное, бодрое движение, пронсящее мимо Кары, еще сильнее подчеркивало противоестественность существования страшного места заточения, слухи о котором доходили и до столицы. Максимов дал себе слово по возвращении с Амура побывать здесь, изучить жизнь отверженных и приложить старание к облегчению их участи — если слово писателя способно изменить что-то в сегодняшней России.

Настроение подавленности, навеянное мыслями о каторге, быстро прошло. Природа Забайкалья, суровая и величественная, отвлекала от сетований и недовольства настоящим. Центр Азии, видевший зарождение великих кочевых орд, выплеснувший на китайские и европейские равнины полчища неведомых миру народов, которые низвергли великие империи древности! Среди этих безжизненных сопок когда-то лавой неслись армии гуннов и Чингисхана, а в водах Шилки — священного Онона древних монголов — отражались огни огромных курултаев — съездов племен, когда избирались военные вожди и владыки варварской империи. Прошло все это, не оставив следа, бесконечная тишина распростерлась над миром, некогда гудевшим от миллионов копыт, от звона мечей и щитов. И каторга с ее трагедиями, безысходностью минет. Может, через сотню лет равнодушный потомок скользнет взглядом по руинам и пройдет мимо, даже не задумавшись о том, сколько горя, сколько боли вместили почерневшие, обвалившиеся стены казематов.

Амур встретил чистенькими, только что из-под топора станицами. По улицам и огородам торчали пни. На расспросы обитатели новых селений отвечали одинаково — не успели еще как следует осмотреться, земля вроде и неплоха, да поднимать ее нелегко — целина. Только много

ниже, в районе Албазина, когда-то покинутого русскими под давлением манчжур, жалобы на трудности пахоты стали реже. Все чаще плуг поселенца наталкивался на мягкую почву, разрыхленную, может быть, еще казаками Хабарова.

В самом Албазине Максимов обошел сохранившиеся с XVII века крепостные валы, помнившие многомесячную осаду 1686—1687 годов. На старом пепелище и строиться, видно, было легче. Выросшая здесь станица оказалась самой многолюдной и ладной из всех виденных им прежде.

Память о прошлом сохранялась в самих названиях казачьих поселений — об этом позаботился граф Муравьев, лично выбравший многие из них. Бейтоново — в честь Афанасия фон Бейтона, немца на русской службе, организовавшего оборону Албазина и отстоявшего его от восьмитысячного манчжурского войска. Толбузино — по имени албазинского воеводы, убитого ядром во время осады. Вагановская — в честь офицера, погибшего в дни вторичного присоединения Амура к России. Поярково — в память первопроходца Амура.

Поселенцев казна обеспечивала скотом, земледельческими орудиями, хозяйственным инвентарем, семенным зерном и продовольственным пайком на два года. Освободив их от всех налогов, власти наложили на них тяжелую повинность — летом исправлять должность гребцов на лодках, перевозивших почву и едущих по казенной надобности, а зимой нести ямскую службу. Сетовали казаки и на непривычные условия: в первый год после переселения многие болели, скот приносил худой приплод — голых, без шерсти телят, которые быстро подыхали, или иных уродцев — с зобами, с двумя головами. В одних местах жаловались на полчища крыс, в других — на тучи комаров и слепней. Однако по всему видно было, что трудности

эти — от неприспособленности к новым условиям, что вскорости все станет на свои места. Ибо главные слагаемые — климат и земля — говорили за то, что будущее поселенцев вполне обеспеченное и даже зажиточное.

Местные народности — орочены и манегиры — успели найти с казаками общий язык. Переселенцы обменивали на меха мануфактуру и съестные припасы, покупали у лесных кочевников рыбу и дичь. Незлобиво-покровительственное отношение казаков к соседям, наезжавшим из-за реки, способствовало налаживанию взаимовыгодной торговли, хотя манчжурская администрация и старалась всячески отвратить своих подданных от общения с русскими — даже стойбища ороченские сжигали, чтобы заставить лесной народец уйти во внутренние районы, подальше от Амура. Да и с простыми манчжурами отношения у казаков складывались неплохие. Максимов спросил в одной из станиц, стоявшей напротив селения китайского берега:

— Дружно вы живете с ними, не бранитесь, не деретесь?

— Зачем драться? Мы от них сами ничего худого не видим, друг дружке помогаем тоже, потому что все заедино. Они нам хлеба, а мы им, что нам самим не надо, отдаем.

Писателю вспомнились слова одного из английских политиков о колониционном гении русского народа — успехи его в освоении новых земель британец объяснял врожденным добродушием, способностью быстро сходиться с людьми любых рас и вероисповеданий, отсутствием высокомерия, так вредившего европейцам.

Из стран-метрополий ехали в колонии далеко не лучшие представители западных народов — авантюристы, нечистые на руку дельцы, преступные элементы. В покоренных странах они чувствовали себя господами, всячески измывались над местным населением. Китайцы

на собственном опыте успели убедиться в этом — после так называемых опиумных войн, развязанных Англией, Небесная империя вынуждена была терпеть в прибрежных городах режим колониальной оккупации. В отношении сопредельной России и ее подданных у китайской администрации также существовало сильное предубеждение. Но тактичное поведение этих «долгоносиков» — так презрительно именовали в Китае всех европейцев — постепенно успокоило соседей. Во время своего путешествия Максимов убедился во вполне мирном и равноправном характере отношений, сложившихся на Амуре.

Ниже Благовещенска по правому берегу находится город Айгунь, тот самый, в котором Муравьев подписал договор о признании Китаем прав России на левобережье. Глава тамошней администрации — амбань, — извещенный о приезде гостя из Петербурга, выразил желание увидеться с ним. В ходе долгой беседы, обставленной бесконечными церемониями, писатель убедился, что манчжуры вполне довольны своими отношениями с Россией, хотя и испытывают к ней подозрение и страх, характерные для более слабого соседа.

Малые народности Приамурья — орочены (эвенки), гольды (нанайцы), гиляки — недвусмысленно предпочитали общаться с русскими и быстро выходили из повиновения. Манчжурские нойоны, наезжавшие прежде за ясаком, начисто обирали лесных дикарей. Приход казаков положил конец этому, за меха, доставляемые на торги, местные племена стали получать твердые деньги. Хотя переселенцы и сами не отличались большим достатком, у них все же нашлись товары для обмена — овчинные полушубки, свинец, топоры. Еще во времена землепроходцев, действовавших «не жесточью, а лаской», сложились принципы земледельческой колонизации. Когда-то они позволили русским за каких-то семьдесят лет пройти от

Урала до мыса Дежнева. Теперь они обеспечили прочность и безболезненность освоения Дальнего Востока.

В станции Екатерино-Никольской, лежавшей ниже Благовещенска по течению Амура, на роскошной черноземной равнине, Максимов познакомился с молодым энтузиастом переселенческого движения Дмитрием Стахеевым. Сам себя он называл землепроходцем и полон был решимости доказать, что на новых землях можно вести прибыльное хозяйство.

Русоволосый молодой человек с быстрыми карими глазами сильно напоминал по своей одержимости петербургских студентов, носившихся с новейшими книжными теориями. Но этот был практик, и Максимова заинтересовала его положительная программа, смахивавшая, впрочем, на утопию в духе Руссо, только на русский лад. С Якушкиным он наверняка спелся бы. Сын елабужского купца, торговавшего чаем, подался на Амур, как показалось писателю, чтобы сбросить отцовскую опеку. За несколько лет перед тем он был отправлен по делам семейной фирмы в Кяхту, пограничный город в Забайкалье, через который велась торговля с Китаем, но разочаровался в коммерческой деятельности.

Узнав, что Максимов собирается на обратном пути с Дальнего Востока посетить Петровский завод и Селенгинск, Стахеев сказал:

— Это же совсем рядом с Кяхтой. Обязательно побывайте там, нравы купеческие посмотрите. Богаче города во всей Сибири не найдете. От достатка и самодурство немалое ведется, ежели гуляют — степь окрестная стонет. Собор построить решили, так отгрохали под стать столичному — столько молящихся не найдется в Кяхте, чтоб его заполнить.

Тон рассказов Стахеева о Кяхте говорил о том, что молодой человек тоскует по оставленному городку с нала-

женной, во многих отношениях вполне цивилизованной жизнью. Это же косвенно свидетельствовало о недовольстве настоящим. Не того ждал мечтатель, отправляясь в девственный край.

— Думалось, что все здесь по-американски будет, где кто захотел — там и селись. Нет, и тут все чиновником предписано. Хоть плачь, а перенести станицу на другое место не позволят, хотя бы там во сто крат удобнее было. Не о хозяйственных выгодах пекутся, а об удобстве администрирования... Делается все бестолково, без того, чтобы с местностью, с особенностями людей сообразовываться. Вот вы говорили, что сверху тамбовские да воронежские переселенцы плавятся. И куда же определили их — в лесное понизовье. Степняков здесь бы надо расселить, они свой опыт подъема черноземной целины и здешним казакам передадут. А в тех местах что им делать — ни корчевать не умеют, ни топором не владеют, чтобы избы порядочные строить. Да еще зверье кругом — медведи, барсы. У нас и то пошаливают.

Рассказы об экзотических хищниках преследовали писателя все полтора месяца его плавания по реке.

В Екатерино-Никольской незадолго до приезда Максимова тигр загрыз часового, охранявшего казенный склад. Сдругим зверем казаки вступили в схватку и смогли одолеть его лишь втроем, да и то с помощью штыков и боевых винтовок.

Проплыв до устья Амура, Максимов получил приглашение от командира военного парохода-корвета «Америка» совершить поход до Японии. Несколько дней, проведенных в этой стране, позволили писателю пополнить свои отрывочные представления о Востоке. Айгуньские впечатления были достаточно беглыми, и путешественник боялся делать на их основе сколько-нибудь существенные обобщения. Теперь, казалось ему, он нащупал основные

отличия двух типов цивилизации — европейской, к которой с необходимыми оговорками принадлежала Россия, и азиатской, яркими представителями которой были Китай и Япония.

Те нравственные основания, на коих строилась общественная и государственная жизнь этих восточных держав, когда-то, до Петра, определяли и русскую действительность. Они были во многом унаследованы от монгольских завоевателей, царь-реформатор видел в них причину отсталости России в сравнении с Западом. Ненависть его к бородам, армякам, длинным рукавам и замкнутому семейному укладу объяснялась именно тем, что все это виделось ему следствием веков азиатского ига. Даже чеканку трехкопеечной монеты — алтына — император повелел прекратить, ибо считал, что «через такие татарские слова всегда делают о власти оных над Россией воспоминание». Фраза эта из татищевского «Лексикона исторического» часто приводилась во время споров в «москвитянинском» кружке для доказательства патриотизма Петра.

Сегодня, считали в Петербурге, Россия делала новый рывок в сторону Запада. Отказываясь от крепостничества, от единообразия в духовной жизни, она, как полагали многие, сбрасывала с себя вериги восточного деспотизма во всем — от государственных институтов до частной жизни. Необходимость этого движения признавали все — и славянофилы, и западники. Один из лидеров «русской партии» Иван Аксаков публично заявил, что русское дворянство должно вслед за уничтожением крепостного права торжественно объявить о самоликвидации себя как сословия.

Наблюдая за нравами, господствовавшими в соседних странах, Максимов припоминал все, что приходилось ему читать у западных и славянофильских полемистов. Если первые были правы, то Россия после Петра ушла



именно от таких порядков, которые царили здесь: полное пренебрежение к человеческому достоинству, культ любого, даже мелкого начальства, абсолютное отсутствие общественного мнения. Положим, рассуждал он, и в России сегодня податные сословия, то бишь девяносто процентов народа, пребывают в состоянии, близком к тому, что привычно для рядового китайца. Но хотя бы образованные классы пользуются у нас определенной свободой выражения мнения, обладают собственностью, на которую правительство не может наложить лапу по своей прихоти. А ведь в допетровские времена всякое состояние считалось фактически данным как бы напрокат за службу и в любое время могло быть отчуждено в пользу казны. Совсем как у китайского чиновника. Да и о личном достоинстве помину не было — любого боярина могли высечь, подвергнуть мучительной казни.

В Айгуне писатель видел заключенных местной тюрьмы с чудовищными колодками на шее, слышал рассказы о том, что предшественника амбаня, принимавшего его, отправили в Пекин в такой же колодке за какие-то провинности. Невозможно было представить подобную ситуацию в России — губернатор, бредущий в кандалах на разбирательство в Петербург.

Многие из славянофилов, впрочем, считали, что на Руси никогда и не было таких форм деспотизма, как на Востоке. Они признавали лишь определенное влияние нравов завоевателей. Но иные мыслители, доводившие до крайности неприятие Запада, договаривались до того, что лучше уж идти путем Китая и уберечь в неприкосновенности общинный быт, соборность, чем двигаться «погибельной дорогой Европы», ведущей к индивидуализму, холодной расчетливости. Максимову споры такого рода казались отвлеченными, далекими от реальной жизни. Характер народа, считал он, не от татарских завоевателей

портился, не от неметчины — напротив, все внешние влияния касались разве что верхов. Россия — необходимое звено между Западом и Востоком не только в географическом смысле. И культура, и духовный склад народа, населяющего этот мост между двумя столь несхожими мирами, должны нести в себе черты того и другого...

Связующее звено между двумя полярными началами. Связующее звено, без которого нет целого. То, что дает единство миру. Идея моста пролегла через сердце каждого русского — не умозрительно, а на уровне эмоций. Оттого и его необыкновенное умение приспособиться к любым условиям, переимчивость, легкость, с которой он сходится с народами разных вер и культур. Такое рациональное объяснение, казалось Максиму, было ближе всего к истине. Несколько лет занятий медициной научили его отыскивать ясные, простые первопричины явлений, человека и его характер он рассматривал с позиций современной науки. Учение о расах, о их психофизических свойствах, широко распространявшееся на Западе, давно интересовало его. Ему казались убедительными объяснения главных событий истории человечества через призму материального взгляда. Все выстраивалось в строгой, логичной последовательности, любое явление духовного и физического мира с легкостью находило свою ячейку, казалось, в стройном здании теории биологической борьбы рас. Хотя многое это учение не могло объяснить: почему время от времени восстает одно сословие на другое, почему ход истории ускоряется или замедляется от переворотов внутри государств, населенных одним народом? И это вызывало сомнение в универсальности всего учения...

В гостеприимном доме Завалишина Максимов появился снова в декабре 1860 года. На лице его еще держался густой загар, приобретенный во время плаваний к Япон-

ским островам, на гористых склонах Сихотэ-Алиня, на берегах Уссури, по которой путешественник поднялся почти до самых истоков. На Дмитрия Иринарховича обрушилась лавина впечатлений — декабрист сам вызвал ее, нетерпеливо потребовав писателя к ответу: он считал Амур чем-то вроде собственного детища, а колонистов чуть не всех поголовно — своими крестниками. «Не погрешу против истины, — заметил он, — если скажу: каждого, кто на восток прошел и проехал, в лицо узнаю».

— Ну-те-с, ну-те-с, признавайтесь, как на духу, все по-русски, на авось делается? — хлопоча возле самовара, требовал Завалишин.

— Однозначно сказать нельзя, Дмитрий Иринархович, в одних местах лучше дело ладится, в других худо идет. Скоро не бывает споро — эта пословица и на Амуре блестяще подтверждается. А так, в основном-то, и строят, да к тому же неловкими руками гарнизонных солдат. Видел я, назад поднимаясь на пароходе, горемык тамбовских, которые в эти казенные избы вселились. В окнах ни стеклышка, с потолка льет...

— А, выходит, прав я был, что малыми средствами тут не отделаешься!

— Вопрос, пожалуй, не только в средствах, почтеннейший Дмитрий Иринархович. Позвольте, я вам некоторую сентенцию из «Журнала Министерства государственных имуществ» приведу — купил случайно номер в Николаевске и поразился, как точно там сама суть проблемы переселенческой обозначена. Автор статьи задался вопросом, действительно ли русский крестьянин так крепко привязан к своему пепелищу — к месту, где покоится прах его отцов и дедов, как в этом уверяют нас многие. Привязанность простого русского человека к своей семье не подлежит сомнению, но привязанность к месту — дело спорное. Если взглянуть поглубже, то,

быть может, окажется, что не только крестьяне, но и все русские причастны слабости — или добродетели, если угодно, — переключившись при удобном случае из одного места в другое. Мы с малолетства прислушивались к поговорке: «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». У малоросса есть и другая поговорка: «Хошь гирше, абы иныше». Вообще «Журнал Министерства государственных имуществ» остановился на той мысли, что мы не умеем ценить достойно русского человека как колониста. В этой связи приводится мнение одного из известнейших наших политикоэкономов, который сказал: «Русский крестьянин — колонист по преимуществу». Меня высказанная журналом мысль о всегдашней готовности русского народа к переселениям подвигнула к разработке вопроса о так называемом бродяжестве. Вопрос этот, я думаю, один из главных и существенных во всей русской истории...

— Такова, надо полагать, тема вашей будущей книги?

— Да, пожалуй. После Амура и каторги. Я даже название уже выбрал: «Бродячая Русь Христа ради».

— Не знаю, что вы там напишете, но заглавие — заманчиво.

Максимов предпочел вернуться к первоначальной теме разговора.

— Я не досказал своей мысли о главной беде наших переселенцев. При всей их охоте к перемене мест они не имеют потребной для того свободы выбора. Прекрасное природное качество народа всячески выхолащивают чиновные дураки, да простится мне эта грубость. Однако других слов не нахожу для объяснения виденных безобразий... Самый существенный недостаток, обусловивший естественным образом неудачу, состоял в том, что крестьянам отказано было в праве заблаговременно и предварительно отправить на места депутатов, которые, будучи выбраны обществом и знакомые с его требова-

ниями, отвечали бы за выбор мест водворения. А ведь правительство никогда и никому из переселенцев в этом не отказывало.

— А что вы скажете о новых городах? На выбор места их основания депутаты, или ходоки, как их крестьяне зовут, не могут иметь влияния.

— Тут особь статья. Мы, русские, вообще не городской народ, у нас город совсем не так возник и не тем живет, как в Европе, а тем паче в Америке, на пример которой все чаще кивают, когда речь о заселении новых мест пойдет. Возьмем для примера Николаевск — город, построенный на русской почве русскими людьми, у которых в истинном значении слова только три-четыре города, скорее иностранных, чем русских, каковы Петербург, Рига, Одесса и, может быть, Архангельск. Несколько сотен городов лежит у нас на карте, но надо выделить в них только дома управлений, дома казенные, чтобы дальше уже не находить никакого сходства с городом в истинном значении этого слова. У нас нет городского общества, мы за долгое существование не выработали удобства и комфорта городской жизни, которые в истинных городах, в городах Европы, доведены до щепетильности; у нас нет ничего из всего того, чем заявляет и характеризует себя всякий город на Западе. Многие из наших городов два-три столетия силились стать на линию европейского города и все-таки до сих пор представляют совокупность нескольких отдельных сел, деревень, плохо сплоченных вместе и не живущих общими интересами. Самый большой город — смесь и совокупность маленьких общин, живущих отдельною жизнью, даже без заявления на сближение в одну общую городскую общину.

— Согласен, большинство наших городов возникали да и сейчас возникают из видов военных и административных. Но это в силу особенностей наших, ведь обще-

ство лишено всякой самостоятельности, все под опекой чиновника.

— Так что не будем от реальности отрываться. Хорош американский способ колонизации, да нам в нем проку мало. Станем лучше успехи наши своими домашними мерками мерять.

— Каковы же, в таком случае, выводы ваши от увиденного?

— Опять-таки полной определенности нет. Тетради распухли, материалу разнородного тьма, да вы и сами по моим рассказам поняли, какая пестротища там царит. На Уссури не в пример лучше живут, не бедуют, как на лесных местах Амура. Если о скуке, об отсутствии общественной жизни забыть, тот же Николаевск настоящим городом глядит, не то что Благовещенск. Под один вывод как-то и мудрено подвести... Ну, раз уж вы так настаиваете... Я, пожалуй, с вашими воззрениями, в «Морском сборнике» объявленными, солидарен. Дорого и неудобно жить на Амуре. Дай бог счастья и терпения тем, кто попал туда! Но и то сказать, нет на свете такого рая, где бы валились в рот галушки сами, без труда, но на Амуре труд этот требует особого внимания и усидчивости. Поселившийся на реке житель — или аргунский казак, который всю жизнь занимался чайной и золотой контрабандой, или шилкинский казак, выбранный по жеребьевке, больше зверовщик, чем хлебопашец, или, наконец, гарнизонный штрафованный солдатик из России, плут и лентяй к тому же. Была надежда на вольных поселенцев из черноземных губерний России, да они поселены дурно, попались им плохие места, а молокане, известные на Руси своим отличным хозяйством, пришли с деньжонками, поселены были к Благовещенску, а потому стали охотнее маклачить подгородным мещанским промыслом и на землю надежд не кладут.

— Это уже похоже на твердые выводы. Так каково же резюме ваших наблюдений?

Максимов покачал головой и, нерешительно вздохнув, продолжал:

— Как ни хотелось бы в литавры ударить, но скажу — и вам здесь, и там, в Питере: неважно пока ладятся дела тамошние, не сразу принимаются за работу переселенцы; казаки, состоя на казенном содержании, на казну и работают — строительство, ямская гоньба, — а про себя досуга мало имеют. У руководителей всех амурских начинаний недостаточно средств, они еще мало присмотрелись, плохо привесились к делу. Машина пушена в ход, вертит колесами, но часто только буравит воду, а по временам даже дает ход назад, едва не стопорится, хотя в то же время пускает свисток, возвещает о себе смело и громко. Лучше бы сделала она, если б молчала и втихомолку творила свой честный труд, шествуя вперед: он и без хвастовства окажет себя.

— Вот это-то и полезно узнать столичным вершителям судеб Амура. Победных реляций они наслушались предостаточно. Не-ет, как ни крути, а на большие затеи большие средства нужны. Садимся по Амуру навек, давайте и строиться не абы как. Ведь о нашем времени потомки по нашим постройкам судить будут — оставим курные избы, так и сойдем за чумазых азиятов, а храмы каменные воздвигнем, памятники вождям и героям водрузим, напомним они о величии и славе предков, на новые дела подвигнут во славу отечества.

— Но ведь и памятники, и храмы сокрушает время, случается, и злоумышленная рука покушается — поглядите, что от Албазина осталось: где стены, где церковь, где жилища?..

— Так то враг замахнулся. Только чужаку выгода есть прошлое топтать. Ему, чужекровному, в том прибыль, когда народ памяти лишается.

Забайкальская зима, малоснежная и ветреная, делала поездку по острогам и тюрьмам нелегким испытанием. Но Максимов решил не отступать от своего плана и посетить как можно больше мест заточения. И начать с Кары...

Снова он ехал знакомым путем по Шилке — теперь река лежала, скованная льдом. Обозначенная вешками дорога была хорошо наезжена — и сейчас, в декабре, сообщение с Амуром оставалось таким же оживленным, как и летом. Навстречу попадались лихие тройки с благовещенскими и иркутскими купцами, тянулись обозы с мороженой рыбой.

Но едва повернули на золотые промыслы, начались иные встречи — конвойные команды из казаков, кандальники. Казалось, сама природа приобрела тюремный облик — сопки, словно стража, сгрудились над долиной, солнце, только что радовавшее душу, теперь с беспощадностью соглядатая обличало убогость попадавшихся строений и партий заключенных.

Из первой же каторжной казармы, куда провели Максимова, он вылетел, содрогаясь от омерзения: смрад, невообразимая грязь под ногами, зловещие физиономии, наполовину обритые головы. Но отступать писатель не мог — пришлось собрать все свое самообладание.

Максимов осматривал нары, ощупывал чудовищного вида тюфяки, даже отважился было отведать арестантского хлеба, окрещенного ими как «купоросные» ши.

Внушительные бумаги, предъявленные писателем тюремному начальству, обеспечили обстоятельность ответов на его вопросы и полную готовность допустить гостя до всех кругов каторжного ада. Особенно интересовало Максимова устройство общины, регулирующей жизнь узников. Администрация фактически не вмешивалась во внутренний быт каторги, ограничиваясь раздачей «уроков» — норм выработки — и организацией охраны.



Жесткие законы, с древности существовавшие в преступных сообществах, лучше всяких мер принуждения обеспечивали поддержание порядка. Для писателя, много занимавшегося юридическими воззрениями народа — так называемым обычным правом, — эта сторона жизни каторжан представлялась отражением общинного духа русской деревни. Недаром ведь большую часть узников составляли выходцы из сельских местностей. В то же время самоуправление преступников виделось ему как своего рода овеществленный идеал общественного устройства, присущий народу. Законы выдвижения человека в этом мире в миниатюре повторяли, по его мнению, принципы социального механизма всего общества, особенно примитивного, древнего общества времен становления государств.

В самом деле, чем не князь и его дружина, силой устанавливающие свою власть над пассивной массой смердов, эти тюремные старосты и их «шестерки». А «майданщики», откупающие у арестантской артели право содержать «игорные заведения», как они похожи на купцов, платящих князю за охрану их права торговли! Наблюдение над человеческим обществом в условиях неволи может много сказать о природе власти, о том, почему складывается социальное неравенство. В начале всего лежит сила — простое физическое превосходство или духовная мощь. Первая элита возникает на элементарной основе личных достоинств, ее дальнейшая судьба во временной перспективе определяется воздействием противоборствующих молодых сил. Но, как бы то ни было, внутреннее состояние общества — результат волевого воздействия выдающихся личностей.

Историкам, изучающим ранние стадии развития человечества, Максимов мог бы посоветовать: побывайте на каторге, присмотритесь к ее нравам...

Новый, 1861 год застал Максимова в Петровском заводе, куда писатель заехал, чтобы повидаться с Иваном Ивановичем Горбачевским. Декабрист оказался совсем без средств к существованию, когда завещанная ему умершим братом сумма была присвоена иркутским чиновником, которому ее доверили для вручения наследнику. Теперь Горбачевский жил исключительно за счет небольшого хозяйства, заведенного им, — трудолюбие и опыт жизни в своем поместье помогли ему и в суровых условиях Забайкалья получать неплохие урожаи. Мало того, что декабрист сумел обеспечить собственный достаток, он еще и благотворительности не оставлял. Стоило ему подсобрать денег, как он начинал строить домик, который затем передавал в собственность одному из ссыльнопоселенцев, отбывших каторгу и зарекомендовавших себя с хорошей стороны. В момент приезда Максимова Иван Иванович заканчивал строительство десятой избушки для исправившихся преступников.

Горбачевский провел Максимова по всему селению, показал так называемую Дамскую улицу, на которой когда-то выстроили дома жены декабристов. Обошел писатель и каторжную тюрьму, где содержались участники восстания. Петровский завод, сжатый со всех сторон заснеженными сопками, даже на свободного проезжего человека действовал угнетающе. Каково же было провести здесь несколько десятилетий?

Они стояли возле почерневшего частокола, окружающего острог, и смотрели на курящиеся под ветром вершины сопки. Иван Иванович грустно усмехнулся.

— После того как на этот пейзаж из-за ограды нагляделся, он мне теперь на вольной воле чуть не Ривьерой кажется...

Просветлело мужественное лицо декабриста, по старой офицерской моде опушенное большими бакенбардами,

сросшимися с усами. В глазах появилось выражение отрешенности, словно мысль Горбачевского отлетела далеко-далеко. И в самом деле — декабрист раздумчиво заговорил о совсем других временах, о тех, кого давно не стало на свете.

— Если бы те пятеро... — заметив понимающий кивок Максимова, он не стал уточнять. — Если б они дожили до сего дня, разве они не радовались бы этому небу, этому холодному ветру, этим голым сопкам? Я часто думаю о них. Ведь и нас, остальных, дотянувших до дня свободы, могло не быть на земле уже тридцать пять лет!.. Нет, как хотите, я не могу хулить эти суровые края, человек может быть счастлив везде, ему для этого надо совсем немного. Свое счастье или несчастье мы носим с собой...

— Вы часто вспоминаете их? — после долгого молчания спросил Максимов.

— Я не вспоминаю, я все время их вижу. Закрою глаза — и снова, как в ту ночь... Когда Муравьева-Апостола и его товарищей вели из крепости на казнь, я сидел в каземате в кронверке. Их провели мимо моего окна... Надобно же так случиться, что у Бестужева-Рюмина запутались кандалы, он не мог идти далее... Каре Павловского полка как раз остановилось против моего окна, пока унтер-офицер распутал и поправил ему кандалы, я, стоя на окошке, все на них глядел; ночь светлая была... Каре тронулось, и когда через час нас вызвали тоже идти на казнь и мы пришли за крепость, то перед нами стояла на валу одна виселица с пятью петлями. Это было в два часа ночи с двенадцатого на тринадцатое июля 1826 года...

Через несколько дней Максимов приехал в Селенгинск. Большой бревенчатый дом с мансардой, возвышавшийся над всей улицей, он узнал по рисунку, по памяти набросанному Горбачевским, и велел ямщику править прямо к жилищу Бестужева.

Михаил Александрович производил двойственное впечатление. По внешности это был лощеный петербуржец, весьма моложавый, одетый с претензией на элегантность. Но в глазах его читалась неудовлетворенность собой, в том, как он говорил — вдруг замолкая и потом с трудом восстанавливая нить беседы, — угадывалось внутреннее смятение. Домочадцы — жена и трое малолетних детей, — словно понимая это, обращаясь к нему, переходили на заботливо-нежные интонации, как обычно разговаривают с больными.

Максимов знал, что раньше в этом доме жил и старший брат Михаила Александровича — Николай, прекрасный художник и вообще яркая, многосторонняя личность. Письма его к Завалишину, с которыми писатель познакомился у Дмитрия Иринарховича, позволяли судить о том, что значил для Бестужева-младшего этот человек. После его смерти и отъезда в Москву трех сестер, некогда приехавших в Сибирь, чтобы облегчить братьям их участь, Михаил Александрович остался вне привычного окружения и чувствовал себя бесконечно одиноким. Жена его, добрая и заботливая, все же была не ровней ему — она происходила из семьи простого забайкальского казака и не получила сколько-нибудь приличного образования.

Бестужев обладал недюжинным литературным талантом. Да и практической сметкой его бог не обидел — к примеру, изобретенная им повозка-двуколка, удобная для поездок по горным дорогам, вошла во всеобщее употребление в Забайкалье под именем «сидейка». Но разносторонние способности его не находили в захолустном Селенгинске сколько-нибудь серьезного применения. Во всяком случае, обеспечить достойное существование его и его семьи они не могли, и Бестужев принужден был жить на крохотные доходы от земли да на те небольшие

суммы, которые высылала сестра Елена Александровна из Москвы — она выхлопотала-таки от казны пособие для брата.

Михаил Александрович признался:

— Ее заботливая нежность к моему семейству не раз ставила меня в затруднительное положение и заставляла, краснея, принимать пособия от правительства, что возмущало душу. Она очень добра, но она не была ни в кандалах, ни в тюрьме, ни в каторжной работе, чтобы изведать подобные чувства. Она не понимает, что мне гораздо легче умереть с голода, чем просить подаяние от палачей, а тем менее вымогать помощь у добрых и благородных друзей.

В дальней России у Бестужева не было никакой собственности, так что выехать туда с семьей он не мог. Этот безвыходный плен обстоятельств и был виной тому, что внешне здоровый и крепкий человек не находил себе места, страдал. Хотя бы кто-нибудь из старых друзей был подле него! Даже во времена заточения Михаил Александрович не чувствовал такого глухого одиночества.

— Вам, может быть, покажется странным, Сергей Васильевич, но каземат нас соединил вместе, дал нам опору друг в друге и, наконец, через наших ангелов-спасителей, дам, соединил нас с тем миром, от которого навсегда мы были оторваны политической смертью, соединил нас с родными, дал нам охоту жить, чтобы не убивать любящих нас и любимых нами, наконец, дал нам материальные средства к существованию и доставил моральную пищу для духовной нашей жизни. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти. Этого никак не мог предвидеть Незабвенный, который, удивляясь нашей живучести, начал морочить Россию милостивыми манифестами, не приносящими нам ровно никакого облегчения. Василий Львович Давыдов писал:

При нем случилось возмущенье,  
Но он явился на коне,  
Провозглашая всепрощенье.  
И слово он свое сдержал,  
Как сохранилось в преданье:  
Лет сорок сряду все прощал,  
Пока все умерли в изгнанье.

Рассказы Бестужева о годах заточения при всей чудовищности сообщенных им подробностей оставляли тем не менее ощущение света в душе. Ибо история декабристской каторги оказалась историей человеческой стойкости, верности, победы над страхом.

— Скоро вы будете в Москве, в Петербурге. Повидайтесь там с нашими, кто уцелел еще. Они вам много интересного поведают сверх того, что я рассказал... Как знать, может, и удастся вам напечатать про нашу эпопею, времена-то меняются, я это по журналам вижу...

— Ну насчет скорого возвращения — это как сказать. Пока в Кяхту съезжу на чаоторговлю поглядеть...

— Да-да, это очень любопытно. К тому ж обидно не посетить такое интересное местечко, чуть до него не доехав. Там вы и с китайцами настоящими познакомитесь, и с монголами. Поучительно будет сравнить здешнюю Азию после ваших летних визитов к японцам и манчжурам.

— К тому же, говорят, скоро кяхтинской торговле конец, таможду в Иркутск перенесут...

— М-да, жаль. Славный городишко выстроился, дома почище, чем в ином губернском центре, купцы миллионами управляют... Мы с братом Николаем там бывали. Помню, как-то на Святки приехали и провели их необыкновенно весело. Мы всегда называли Кяхту «Забалуй-городок», и тогда он заслуживал это название вполне. Звуки бальной музыки раздавались почти всякий вечер.

Вся Кяхта, начиная с директора таможни, рвала нас из одного дома в другой, так что наконец нам, мирным жителям, это уже стало тяжело, и мы убрались восвояси.

— Так что, Михаил Александрович, никак не раньше февраля в Иркутске буду. И там опять же остановку придется сделать — к графу визит, документы кое-какие посмотреть по каторжному делу...

— А все по весне в столице будете, — мечтательно сказал Бестужев. — Это разве срок? Мы тут время по иной колодке мерять привыкли.

— Вся Россия сегодня к новым меркам прилаживается. Год за десять проживаем. Я вот позапрошлой осенью из Питера уехал, а уже не понимаю чего-то, когда свежие журналы читаю. Много переменялось там, ожесточение какое-то, все газеты между собой перегрызлись, перессорились, да и литераторы, того и гляди, стенка на стенку выйдут.

— А вот это напрасно, — с печальной улыбкой сказал Бестужев. — Нам перед лицом правительства всем вместе держаться надо, отвоевывать у него свободу шаг за шагом. Поезжайте, да не ходите вместе с задирами на кулачках биться, утихомиривайте буянов. А мы тут за вас молиться будем...

## НЕТЕРПЕЛИВЦЫ И ПОСТЕПЕНОВЦЫ

**В** конце июля 1862 года в петербургскую квартиру Максимова явились жандармы. Для писателя, только что отпраздновавшего свадьбу, это был весьма неприятный сюрприз. Не столько за себя он боялся, сколько за юную супругу. Шутка сказать: шла замуж за писателя, а очутилась за подозрительной личностью, которой интересуется Третье отделение.

— Оленька, не беспокойся, это какое-то недоразумение, мы сейчас все выясним, уладим. Поди к себе.

— Ольга Иванна, примите мои извинения, — шеголеватый ротмистр с нафабранными усами приложил к груди руку с форменной фуражкой и шелкнул каблуками.

Сопровождавший его огромный жандарм выпучил глаза, выгнул грудь и шелкнул сапожищами так, что все вздрогнули.

— Должен вас огорчить, господин Максимов, — начал ротмистр, когда они остались одни. — Вам необходимо явиться в правительствующий сенат для дачи показаний по делу о лицах, обвиняемых в сношении с лондонскими пропагандистами. Мне поручено препроводить вас...

По характеру вопросов, заданных следователем, писатель понял, что он попал на подозрение из-за своих



встреч с Василием Кельсиевым, сотрудником Герцена, приехавшим в Петербург весной 1862 года по поддельному паспорту турецкого подданного. Этому необычному гостю водил по всем литературным компаниям акцизный чиновник Андрей Ничипоренко, сам кое-что пописывавший в демократических журналах.

Ничипоренко, долговязый господин в синих очках-«консервах», всегда ходивший в коричневом пальто и в островерхой гарибальдийской шляпе, был хорошо знаком разночинному Петербургу. Одевание, делавшее его похожим на факельщика из похоронной конторы, видели во всех редакциях и книжных магазинах. Стоило собраться нескольким пишущим молодым людям, как возле них оказывался Андрей Иванович и, поминутно швыряя носом, энергично потирая большим пальцем левый глаз, словно собираясь выдавить его из орбиты, принимался рассказывать о новейших предвестиях скорой революции. Постепенно он сумел приучить общество к мысли, что он действительно связан с некими глубоко законспирированными силами — может быть, потому, что никогда не говорил от своего имени, а употреблял такие местоимения, как «мы», «нам», словосочетания «наши люди», «наше движение». Завидев фигуру буревестника, к нему тянулись студенты в клетчатых пледах и таких же синих «консервах». Иные настолько верили в его влияние, что переняли и его дурные привычки — яростно выдавливали левый глаз, говоря о грядущем «большом деле», швыркали и оглядывались, рассказывая о волнениях мужиков в Курмышском уезде.

Когда же Ничипоренко случайно прознал, что у его знакомого Артура Бенни остановился «эмиссар Герцена», он немедленно примчался к нему и буквально вцепился в Кельсиева. Ведь это была редчайшая возможность продемонстрировать свою прикосновенность

к неким подпольным сферам. И тщеславие Андрея Ивановича было удовлетворено — его акции пошли вверх, толпа клетчатых пледов вокруг него заметно увеличилась.

Первыми, кто сподобился видеть «эmissара», оказались сотрудники «Искры». Ничипоренко притащил Кельсиева к Курочкину. Тут же созвали всех друзей Василия Степановича, в том числе Максимова. Сотрудника Герцена все хорошо знали — до 1859 года этот молодой человек жил в Петербурге, был вхож к братьям Курочкиным, к Добролюбову. Оставшись в Лондоне во время одной из своих поездок, он стал сотрудником Вольной русской типографии. Теперь Герцен направил его в Россию для налаживания транспортировки эмигрантских изданий.

Ничипоренко, конечно, заверил Кельсиева, что обеспечит Герцена верными каналами, ибо «наши люди», густо населявшие воображение пылкого акцизного, имелись во всех слоях общества, в любом захолустье. О других нуждах гостя Андрей Иванович также позаботился. Едва тот заикнулся, что хотел бы наладить связи с раскольниками, буревестник сказал: нет ничего легче. И у Курочкина он первым делом подвел Кельсиева к Максиму.

— Вам, господа, необходимо переговорить. Сергей Васильевич несколько лет с раскольниками общался. А Василий Иванович ими главным образом интересуется, у Герцена «Сборник правительственных сведений о расколе» опубликовал.

Кельсiev поведал, что в Лондоне почитают старообрядцев крупной силой, могущей сослужить службу делу революции. Во всяком случае, почти два века они оставались оппозиционным движением, некоторые из толков раскола отказывались молиться за царя. Одно это уже — выражение протеста против существующей действительности.

Максимов возразил, что к действительности как таковой раскольники особых претензий не имеют, особых — по сравнению с остальным населением. А за царя и его семейство молитв не возносят, ибо почитают их представителями антихристовой власти. Я знаю, говорил писатель, что господин Герцен связывает с ними большие надежды, но думаю — напрасно, ибо старообрядцы куда консервативнее других слоев русского народа и в силу религиозных взглядов, повелевающих видеть скверну во всякой новизне, и потому, что в их среде велик процент зажиточных людей — купцов, промышленников, строительных подрядчиков.

И все же Максимов охотно рассказал Кельсиеву, что знал сам о современном состоянии старообрядчества, о его быте и нравах. На этом общение с «эмиссаром» закончилось. И вот теперь его вытребовали на допрос в сенат. Правда, дело до заключения в крепость не дошло. С него только взяли обязательство без дозволения полиции не покидать столицу.

Вернувшись домой и успокоив жену, писатель отправился в книжный магазин Кожанчикова, где можно было узнать все городские новости. И точно — когда он явился к книготорговцу, там уже гудел рой пишущей братии. Сам Дмитрий Ефимович был приметно расстроен. Увидев Максимова, позвал его к себе в контору.

— И тебя таскали?.. Эх мы, дураки, доверяемся всяким прощелыгам, а потом дело страдает...

Из рассказа Кожанчикова следовало, что вся каша заварилась по вине Ничипоренко. Тот отправился вскоре после отъезда Кельсиева в Лондон. Был принят и обласкан Герценом, вероятно, наслышанным о его больших связях в «революционном подполье». Прибывшего вместе с ним Николая Потехина, тоже акцизного чиновника, тоже баловавшегося литературой, издатель «Колокола» забраковал, как «доброе малого, но болтуна». Эта фраза стала известна из письма, попавшего в руки Третьего отделения...

— А ты-то откуда ее знаешь? — удивился Максимов.

— В этом-то все и дело. Меня тоже в сенат под стражей водили. Да только мой следователь, видать, словоохотливее твоего оказался.

— А кого еще вызывали?

— Целую кучу народу. Афанасьева, историка, того, что «Русские народные сказки» издал, Серно-Соловьевича, книгопродавца, Офрано, журналиста. Даже Тургенева, который сейчас за границей, к ответу потребовали — выслали ему опросные пункты. Всего больше тридцати человек.

— Да откуда такая напасть?..

— Наш революционер, Ничипоренко то бишь, когда поехал в Россию, вызвался сколько угодно номеров «Колокола» и любую конфиденциальную корреспонденцию провезти. А поелику он большой моральный кредит получил, ему востребованное тотчас и вручили. Поехал наш Аника-воин, но перед границей струхнул: а ну, смекает, общуют. И, недолго думая, швырнул весь сверток газет и писем под какой-то прилавок на австрийской таможене. А там уборщик поднял бумаги да и представил своему начальству — то, соответственно, нашему передало: авось что любопытное найдется. И нашлось... Вот и стали вязать злодеев, а первым самого Ничипоренку схватили. Он и начал душу выворачивать: десятками называет, приплетает к делу таких людей, кои его самого и в глаза-то не видели. А тут новая проруха вышла — здесь, на Петербургской таможене, во время обыска у мелкого чиновника, какого-то Ветошникова, еще пачку писем отобрали. И тоже, оказывается, от Герцена вез. Теперь по всей России сыск идет, добрались, говорят, до весьма крупных чинов, которые втайне Герцену обличительные матерьяльцы подбрасывали...

Каждый день приносил новые слухи. В Петропавловскую крепость попали, кроме Ветошникова и Ничипорен-

ко, маркиз де Траверсе, купец Шебаев, армянский писатель Налбандян, какие-то никому не известные личности, вроде почетного гражданина Владимирова и репетитора Котляревского. Шли аресты и по другим делам.

Максимов пытался понять, с чего началась эта жандармская вакханалия. Сидя с Кожанчиковым в Балабинском трактире, находившемся рядом с магазином, они вслух размышляли о том, что такого развития событий никак нельзя было ожидать еще год назад.

Вернувшись из сибирского путешествия, писатель в который уже раз убеждался: время в Петербурге идет совсем по-иному, нежели в провинции. За те без малого два года, что Максимов отсутствовал, его товарищи прожили целую эпоху. Зыбкое единство, существовавшее среди либерально настроенного общества, рассыпалось. Из «Современника» ушли Тургенев, Писемский, Толстой, Гончаров и Дружинин. Чернышевский и Добролюбов теперь полностью определяли лицо журнала. Со страниц «Русского слова» им вторил голос нового кумира молодежи — Дмитрия Писарева. В обществе их и их сторонников с чьей-то легкой руки начали именовать нетерпеливцами, а недавних союзников, теперь ставших в оппозицию «Современнику», — постепеновцами.

Максимов имел друзей среди тех и других. И, несмотря на все большее обострение отношений между литературными «партиями», сохранял хорошие отношения как с Писемским, Аполлоном Григорьевым и Островским, изредка наезжавшим в Петербург из Москвы, так и с «современниковцами». Однако последние мало-помалу занимали в его жизни все большее место. В обществе утвердился принцип: кто не с нами, тот против нас, и Максиму волей-неволей приходилось выбирать. К тому же писатели-ходебщики, сильно умножившиеся в числе,

считали автора «Года на Севере» чуть ли не главой школы, а это тоже ко многому обязывало. Ибо последователи его сплошь принадлежали к радикальному лагерю.

Как-то так получилось, что большая часть литераторов-этнографов вышла из стен медицинского факультета университета или Медико-хирургической академии. Николай Успенский, Василий Слепцов, Александр Левитов, достигший к этому времени определенной известности. Да и секретарь Чернышевского Михаил Воронов, писавший очерки о народном быте, был медицинским студентом. Максимов подозревал, что и младший брат его Василий, поступивший в академию, пойдет по его стопам, раз уж и другой брат — Николай — тоже пробовал себя в жанре «физиологии», хотя и не подвергся воздействию «медицинского духа», породившего дружину «калик переходящих». Под таким общим наименованием группа писателей-народников была изображена на обложке одного из номеров «Искры» — в числе прочих Сергей Максимов с Павлом Якушкиным.

Приехав из двухлетнего амурского вояжа, Максимов обнаружил, что стал знаменитостью. Его наперебой приглашали в демократические кружки, на благотворительные вечера. Он выступал на чтениях в Пассаже, организованных Литературным фондом, и всегда вознаграждался бурными аплодисментами. В обществе ценили его умение живо, занимательно рассказывать, его образная речь, обильно приправленная пословицами и меткими словечками, служила образцом для подражания. Максимов мог часами занимать публику историями из жизни декабристов, импровизированными новеллами о каторжниках, анекдотами из собственной дорожной практики и при этом никогда не повторялся.

Огромное внимание к творчеству писателей-народников в молодежной среде, прежде всего у студентов, объясня-

лось не всегда литературными достоинствами их сочинений, чаще — предметом изображения. Жизнь мужика, только что освобожденного от крепостной зависимости, казалась исполненной огромного внутреннего смысла, ибо с ним связывались надежды на быстрое развитие России по пути демократии. Община, избавленная от опеки помещика, виделась как своего рода социалистический фаланстер, воспринималась как прообраз будущего парламента. Максимов, прежде относившийся к общинному устройству вполне скептически, теперь почувствовал к ней острый интерес. Возможно, сыграла свою роль герценовская пропаганда, возможно, моральное давление со стороны единомышленников — для них прогрессивный характер общины был аксиомой, навсегда изъятой из обсуждения. Да и другие слагаемые радикального символа веры принимал Максимов: эмансипация женщин, отмена сословий, ликвидация крупного землевладения.

В Петербурге открыто говорили, что крестьянская реформа проведена в пользу помещиков, что правительство обмануло чаяния народа. Вопрос о размерах и темпах перемен, необходимых стране, стал чертой разделения между постепеновцами и нетерпеливцами. Первые полагали, что в России отсутствует политическая культура и любые нововведения должны внедряться постепенно, чтобы поэтапно приучать общество к демократическому мышлению.

Как-то на одном из четвергов в редакции «Отечественных записок», когда, по старому обыкновению, собрались представители разных литературных направлений, Максимов увидел академика Никитенко — того самого, который ратоборствовал некогда в книжном магазине Исакова с целой командой молодых радикалов. С тех пор взгляды его не изменились, новым стал тон — уговаривающий, доверительный. Обращаясь к одному из нетерпеливцев, седовласый академик заклинал:

— Нам не след быть врагами. Мы стремимся к одной цели. И вы и мы — люди движения; но вы — представители быстроты движения, мы — представители постепенности его. Все дело в том, чтобы не допускать друг друга до крайностей. И несдержанная быстрота и слишком большая медлительность — одинаковое зло. Вы не дадите обществу застояться, спустить, что называется, рукава; мы не хотим допустить вас до головоломной скачки вперед, которая может породить много зла, например, анархию. Одним словом, мы составляем противовес, который мешает тяжести упасть на одну сторону весов. В сущности же, не будет ни того, что вы хотите, ни того, что хотят ваши противники, а от взаимного противодействия сил выйдет нечто, чего не ожидаете ни вы, ни они, — выйдет то, чему быть надлежит. А в этом и вся сила.

Но его примирительный тон не произвел ожидаемого действия. Увещиваемый загремел, сверкая очами:

— Довольно корчить либералов, наступила пора действовать. И кто выдумал, что правительство сумеет сделать что-нибудь нужное само по себе? С какой стороны вы ждете еще доказательств способности правительства и желания его сделать что-нибудь полезное для России? Откуда ваши ожидания? Или вам мало исторического прошедшего России? Не питайте в себе пустой надежды, этого предательского, усыпляющего чувства; не переносите своих благородных стремлений на ватагу негодяев, называемых русскими министрами и русским правительством. Или вы не видите, что власть и скудоумна и смеется над вами? Нет, с такими господами нечего церемониться, пора с ними кончить, пора приступить к делу теперь же, не теряя ни минуты.

Никитенко ежился от пронзительного фальцета молодого полемиста, морщился, как от горькой микстуры. Наконец не вынес и поспешно вышел в соседнюю



комнату, где происходила борьба за ломберным столом. Когда через некоторое время Максимов заглянул туда, он увидел академика за зеленым сукном с веером карт в руке. Но Никитенко совсем не смотрел в них; он изнуренным голосом говорил пожилому господину, державшему возле уха ладонь, сложенную трубкой:

— Страшную будущность готовят России все эти ультрапрогрессисты. И чего хотят они? Вместо постепенных, конечно, безотлагательных, реформ, вместо разумного движения вперед они хотят крутого переворота, хотят революции и пытаются произвести ее искусственным образом. Безумные слепцы! Будто они не знают, какая революция возможна в России! Им хочется порисоваться на сцене, хочется поиграть в историю — история их первых смелет, как мельничный жернов дрянное жито или овес, и унесет в своем водовороте. Разве России необходима такая революция, какую они замышляют?

Но такие стычки не очень задевали Максимова. Гораздо болезненнее воспринимал он полемику между людьми, близкими ему по взглядам на искусство, которых он знал многие годы и привык уважать за независимость суждений.

Когда разгорелась полемика между Герценом, с одной стороны, и Чернышевским с Добролюбовым — с другой, Максиму нелегко оказалось определить свою позицию. Он в одинаковой степени разделял и взгляды лондонского эмигранта, и убеждения тех, кого издатель «Колокола» называл «желчевиками».

А когда «Искра», руководимая Василием Курочкиным, выступила против Писемского, редактировавшего «Библиотеку для чтения», с обвинениями в реакционности, Максимов счел необходимым подписать коллективный протест группы литераторов против печатной обструкции большого русского писателя. И это — несмотря на тесные

связи с Курочкиным, несмотря на то что Максимов сам публиковался в его журнале.

Но войну литературных «партий», поначалу захватившую писателя, быстро заслонили другие события. В начале сентября 1861 года был арестован один из старых друзей и литературных единомышленников Максимова — Михайлов. Его обвинили в составлении прокламации «К молодому поколению», в которой содержался призыв к кровавому перевороту. Месяцем позже в Петропавловскую крепость отправили Владимира Обручева, сотрудничавшего в «Современнике», ему ставилось в вину распространение антиправительственных прокламаций «Великорусс». Почти одновременно произошли волнения в Петербургском университете, двести сорок три студента были подвергнуты тюремному заключению. В декабре Михайлова лишили всех прав состояния и приговорили к шести годам каторжных работ. Затем последовал суд над Обручевым, его приговорили к трем годам каторги.

Максимов был в числе тридцати литераторов, подписавших обращение, направленное министру просвещения Путятину, в котором высказывалось беспокойство по поводу ареста Михайлова. Всем участникам этой акции был объявлен выговор от имени государя-императора.

Едва затихли толки в связи с первыми политическими процессами нового царствования, как появились очередные прокламации с призывами к топору: «К молодому поколению», «Молодая Россия». А вслед за тем в 20-х числа мая 1862 года одновременно в разных местах столицы начались гигантские пожары. Сгорело Министерство внутренних дел, Апраксин и Щукин дворы, много доходных домов. В народе ходили упорные слухи о поджигателях, подозревали студентов и поляков. Однако никаких следов заговорщиков не обнаружили.

Прошло еще немного больше месяца, и опять недобрая весть пронеслась по Петербургу: Писарев арестован. Через несколько дней взяли Чернышевского, и сразу же начались аресты лиц, связанных с лондонскими пропагандистами.

Перебрав все эти события, Максимов с Кожанчиковым надолго замолчали. Сосредоточенно пили чан, хрумкали баранками, утирали испарину со лба расшитыми полотенцами. Будущее виделось обоим в самом мрачном свете.

Однако волна репрессий пошла на убыль. Новых арестов не было. Следствие по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами тянулось как-то вяло. После того как Максимова вызвали на очную ставку с Ничипоренко, его надолго оставили в покое.

Хотя незадачливый революционер не вызывал у писателя никакой симпатии, ему все же было жалко этого никчемного человека, из-за собственной страсти к мистификациям угодившего в крепость. Унылое лицо акцизного нетерпеливца, поминутно дергавшего носом, часто вспоминалось Максиму, когда он проезжал по набережной напротив Петропавловской крепости. Не в казематы сажать таких болтунов, а снять штаны да выдрать принародно — так бы он поступил на месте правительства. Но оно, похоже, с готовностью поверило в великую важность Ничипоренко, целая армия судебных чиновников трудится над распутыванием несуществующего «заговора». И самое обидное в этом деле, что могут пострадать много достойных людей, не причастных к дурацкому маскараду.

Случай с Ветошниковым и Ничипоренко дал противникам Герцена повод обвинить его в коверкании судеб молодого поколения. Катков упрекал в «Русском вестнике» издателя «Колокола», что сам он ничем не рискует, сидя в Лондоне, но сознательно жертвует своими корре-

спондентами в России. Далее следовали рассчитанные на запугивание постепеновцев утверждения о том, что, по представлению Герцена, «Россия есть обетованная страна коммунизма».

Правительству история с арестованными агентами Вольной русской типографии показалась удобным поводом, чтобы начать открытую полемику, направленную против Герцена. Прежде его имя даже не упоминалось в подцензурной печати, а теперь катковская «Заметка для издателя «Колокола» была по распоряжению властей перепечатана многими крупнейшими газетами. Правда, на радикальную молодежь эта мера не произвела никакого впечатления. Напротив, статью с издевательскими интонациями цитировали везде, где собирались сторонники Герцена.

— Господа, послушайте, что наш московский оракул вещает. «Русские поданные имеют нечто более, чем права политические: они имеют политические обязанности. Каждый из русских обязан стоять на страже прав Верховной Власти и заботиться о пользах государства. Каждый не то что имеет только право принимать участие в государственной жизни и заботиться о ее пользах, но призывается к тому долгом верноподданного. Вот наша конституция».

Но печатно возразить Каткову не решались. «Современник» и «Русское слово» были приостановлены одновременно с арестом Чернышевского и Писарева на 8 месяцев. Другие журналы, наученные таким наглядным способом, к чему может привести оппозиционность, не хотели рисковать.

Идейные баталии перестали быть прерогативой публицистов и критиков. Главный спор переместился на страницы романов. Герои произаических произведений выражали взгляды, сделавшиеся предметом полемики, не только высказывая те или иные концепции, но и самим своим поведением. Это действовало гораздо сильнее

теоретических доказательств, к проблемам, занимавшим активное меньшинство русского образованного общества, приобшились все, кто следил за беллетристикой.

Первый выстрел в долгой битве романистов произвел Тургенев. Роман «Отцы и дети», напечатанный в февральской книжке «Русского вестника», стал литературной сенсацией 1862 года. Его прочли даже люди, давным-давно ничего не читавшие. Словечко «нигилист», пущенное в оборот автором, не сходило с газетных и журнальных страниц, его повторяли в аристократических салонах и чиновных канцеляриях. Восхищались И.С. Тургеневым, считая, что он показал в своем романе самонадеянных крикунов и нечистоплотных «эмансипе», щеголявших по Петербургу с короткими стрижками и немывтыми шеями.

В одной из компаний Максимов услышал восторженный гимн автору «Отцов и детей», произнесенный каким-то отставным генералом:

— Признаюсь, я эту дребедень, называемую повестями и романами, не читаю, но куда ни придешь — только и разговоров, что об этой книжке... стыдят, уговаривают прочитать... Делать нечего — прочитал... Молодец сочинитель; если встречу где-нибудь, то расцелую его! Молодец! Ловко ошельмовал этих лохматых господчиков и ученых шлюх! Молодец!.. Придумал же им название — нигилисты! попросту ведь это значит глист!.. Молодец! Нет, этому сочинителю за такую книжку надо было бы дать чин, поощрить его, пусть сочинит еще книжку об этих пакостных глистах, что развелись у нас!

Иные из обывателей, напуганные демонической фигурой Базарова, везде и всюду усматривали происки нигилистов. Пожилая чиновница заподозрила в нигилизме своего мужа, из лени не поехавшего делать пасхальные визиты начальству. Барышню из дворянской семьи, желавшую изучать естественные науки, родители увезли

в дальнее поместье, так как боялись, что она сделается нигилисткой.

Даже малограмотные приказчики, дворники и кучера подхватили словцо. Стоило им увидеть женщину в каракулевой шапке, они начинали улюлюкать и отпускать фривольные замечания в адрес «эмансипе».

Следующий залп произвел Писемский. В том же «Русском вестнике» с марта 1863 года начал печататься его роман «Взбаламученное море». Радикальная молодежь была изображена в нем куда более резко, чем герои Тургенева. Даже «Отцы и дети» истолковывались в демократических кругах как пасквиль, хотя в нем и не содержалось каких-либо обвинений по адресу Базарова и его единомышленников. Понятно, что памфлетные образы Писемского вызвали настоящую бурю негодования. В персонажах «Взбаламученного моря» узнавали прозрачные намеки на реальных лиц. Два наиболее непримиримо настроенных революционера — сыновья винного откупщика Галкина — призывали в романе к ниспровержению существующего порядка, к уничтожению русской культуры, в то время как глава семейства преспокойно наживался на спаивании русского народа. Нетрудно было догадаться, что прообразами этих коварных врагов России стали петербургский банкир Исаак Утин и его сыновья, Евгений и Николай, игравшие видную роль в волнениях студенческой молодежи, ездившие на отцовские деньги в Европу для установления контактов с Герценом и его людьми.

Но одновременно последовал и ответ со стороны противной партии. Мартовская книжка «Современника» за 1863 год (он снова начал выходить с февраля) открылась публикацией романа Чернышевского «Что делать?», созданного в Петропавловской крепости, пока шло следствие по делу автора, обвинявшегося в написании поджигательской прокламации «К барским крестьянам».

Положительная программа героев Чернышевского вдохновила молодых бунтарей. Отношения между людьми, которые были показаны в романе, воспринимались как эталон. Стали возникать мастерские для бедных барышень, появились коммуны, объединявшие мужчин и женщин, придерживавшихся радикальных взглядов.

Максимов тоже спешил принять участие в литературной борьбе. Он, однако, не собирался вступать в спор — прямой или косвенный — с кем-то из собратьев по перу. Ему казалось: если в это горячее время появится книга о каторге и ссылке, о политических узниках прошлого и о недавних жертвах возмездия Николая I — декабристах, — ее воспримут как выражение протеста против деспотизма. И писатель работал днем и ночью, приводя в систему разнородные материалы, привезенные из путешествия: записанные им воспоминания декабристов, рассказы каторжников, их песни и словарь, архивные акты и статистические выписки. Меньше чем через год новая его работа была закончена. На титульном листе стояло: «Ссылные и тюрьма».

Однако книга сразу же натолкнулась на непреодолимую преграду. Председатель Сибирского комитета Бутков посчитал сочинение опасным и воспротивился его изданию. Даже поддержка великого князя не спасла труд писателя. Тогда Константин Николаевич предложил напечатать книгу в типографии Морского министерства в секретном порядке для раздачи по списку видным лицам государства. Такой порядок давал возможность обойти цензуру, но для общественности произведение писателя оставалось недоступным.

«Ссылные и тюрьма» были напечатаны в количестве 500 экземпляров. Только одна-единственная глава из книги смогла появиться в открытой печати — «Библиотека для чтения» опубликовала «Два эпизода из истории нерчинских тюрем», повествовавших о делах XVIII века.

Как обидно было Максимову, особенно после публикации в журнале «Время» «Записок из мертвого дома» Достоевского! В них шла речь о совсем недавних временах — автор отбывал каторгу за участие в кружке Петрашевского. А «Ссылные и тюрьма», отчасти касавшиеся декабристской эпопеи и в новейшую эпоху не заглядывавшие, оказались под строгим запретом.

Судьба других работ писателя была счастливее. В конце 1861 года он напечатал в разных журналах несколько очерков по истории русского раскола. Тема эта пользовалась вниманием публики — вероятно, не без влияния Герцена, видевшего в бородастых «ревнителях древнего благочестия» политических протестантов. Эти-то публикации и были причиной того, что Ничипоренко представил Максимова Кельсиеву как виднейшего расколоведа.

Одновременно с каторжной эпопеей и работами о старообрядчестве писатель трудился над материалами, собранными во время плавания по Амуру. Отрывки из задуманной книги публиковались в «Морском сборнике». К этому времени журнал уже утратил репутацию оппозиционного органа, тираж его упал, и амурские очерки Максимова прошли малозамеченными, хотя в них сохранилось много критических соображений о действиях правительства и местной администрации, что, по понятиям тогдашней публики, составляло главное достоинство литературных произведений.

Возможно, проблемы заселения Амура просто не очень-то волновали общественность. То, что описывал Максимов, происходило бог знает где — за десять тысяч верст от столицы. Да и стремительная смена событий в Европейской России отодвигала на дальний план дела Сибири и Дальнего Востока. То крестьянские бунты и их подавление воинскими командами, то раскрытие тайного общества «Земля и воля», то расстрел участников



антиправительственного заговора в Казани, то отмена телесных наказаний, то обнародование проекта нового судопроизводства и судоустройства.

Но все затмило восстание в Царстве Польском и Литве, начавшееся в ночь с 10 на 11 января 1863 года.

Подавление мятежа сопровождалось казнями и массовой ссылкой его участников в Сибирь.

В русском обществе польские события вызвали еще более резкий раскол, чем идейная борьба 1861—1862 годов. Революционно-демократические круги были на стороне повстанцев. Однако большинство поддержало антипольскую кампанию, начатую в либеральной и консервативной прессе. Тон и на этот раз задавал Катков. Резко критикуя нерешительность русской администрации в Западном крае, он требовал ее смещения и установления режима военной диктатуры. Когда в апреле виленским генерал-губернатором был назначен М.И. Муравьев, получивший в кругах сочувствующих польскому делу кличку Вешатель, «Русский вестник» стал прославлять его крутые меры по усмирению восставших.

Максимов внимательно следил за происходящим. Его давний доброжелатель, великий князь Константин Николаевич еще в 1862 году был назначен наместником Царства Польского и пытался умиротворить недовольных без применения насилия. Именно его осторожная политика и служила мишенью нападок Каткова. Августейший либерал сделался ненавистен как левым, видевшим в нем представителя деспотизма, так и правым, считавшим его тайным союзником бунтовщиков. Дело кончилось отзыванием Константина Николаевича из Варшавы. Тогда же пошло на убыль его влияние на государственные дела. Если до польского возмущения мнение великого князя относительно крупных реформ было определяющим, то теперь в Зимнем дворце настороженно стали относиться к его взглядам.

Когда летом Максимова пригласили в Мраморный дворец, резиденцию великого князя, он не узнал Константина Николаевича. Вместо всегда жизнерадостного и изящного светского человека перед ним был озабоченный, даже растерянный господин в партикулярном сюртуке. Обычно он выглядел моложе своих лет, а сегодня тридцатишестилетнему брату царя можно было дать куда больше.

После краткого приветствия великий князь заговорил в деловом тоне: Морское министерство предлагает писателю поехать на Каспий, а также посетить реки, в него впадающие, с обычным поручением — обзреть быт и занятия тамошних жителей. Срок командировки — год, материальные условия прежние.

Едва Максимов заикнулся, что находится под следствием, Константин Николаевич досадливо поморщился и сказал, что этот вопрос будет улажен. Писателю ничего не оставалось, как согласиться, он видел, что великий князь очень не желал бы услышать отказ.

Возвращаясь домой, Максимов размышлял о причинах явной поспешности и настойчивости Константина Николаевича. Ощущение было такое, что великий князь хотел бы услатить его подальше из Петербурга. По болезненной grimase, появившейся на его лице при упоминании о производящемся следствии, писатель заключил, что Константин Николаевич знаком с деталями дела... Неужели именно поэтому он желает отъезда Максимова? Может быть, он боится, что писатель скомпрометирует себя связями с революционной молодежью и угодит в крепость? Время смутное, тревожное, Константин Николаевич и сам не уверен в прочности своего положения, вот и старается отправить Максимова от греха подальше. В его добром отношении к себе писатель не сомневался... Конечно, не время бы сейчас уехать, думалось Максиму. Недавно родившийся первенец, нареченный Иваном, требовал,

как казалось отцу, ежечасной заботы. Книга об Амуре не дописана... Но не зря же последовал этот вызов к великому князю, на несколько дней приехавшему из бурлящей Варшавы. Может быть, Константин Николаевич прав и оставаться в Петербурге небезопасно в виду каких-то крутых мер, обсуждаемых на самом верху?..

Опять он плыл по Волге, все дни напролет просиживая на палубе. Без конца можно было смотреть на ее берега, оживляемые то селом, то городком, то белыми палатками бурлацкой ватаги. Иногда Максимов ловил себя на мысли о том, что он где-то на Амуре, в среднем его течении, настолько похожими казались виды высокого правого берега и низменного левого. Но стоило где-то вдали мелькнуть яркой золотой звездочке, как иллюзия пропадала. На пустынном и диком Востоке он ни разу не видел, чтобы вот так призывно блеснули кресты православного храма, все там только созидалось, обживалось.

Да и бесконечное разнообразие волжских судов делало реку праздничной, оживленной. Если по Амуре шли плоты да корявые баржи и лишь изредка попадались небольшие пароходы, то здесь можно было встретить циклопические сооружения из теса — беляны, расшивы, неповоротливые гусянки, быстрые межеумки. Беляны шли под огромными парусами, пузырящимися под верховым ветром, и видны были за десятки верст. Громадные черные кабестаны тащили караваны барж с низовьев Волги. Впереди чудища, посылающего к небу клубы черного дыма, бежит юркий буксир, он везет многопудовый якорь кабестана. Бросив его в версте от парохода, поджидает, пока яростно рычащий спутник его наматывает якорную цепь на барабан и протащит себя и свой караван на эту версту вверх. Потом пароходик — «завозень» опять закинет якорь кабестана вперед, и тот

снова примется кряхтеть, выбирая цепь. Так вот и караб-кается до самого Нижнего...

Прислушиваясь к разговорам пассажиров, писатель убеждался, что и здесь, далеко от столиц, находили отклик бушующие там страсти. Компания купцов толковала о «польской интриге», черными словами поминая «скубентов», которые будто бы сожгли Апраксин и Щукин дворы. Где теперь расположиться с товарами торговому классу? Осиротили, окаянные смутьяны!

Офицер с чиновником рассуждали о действиях графа Муравьева по усмирению инсургентов под Вильной, хвалили его решительность и осуждали мягкотелость великого князя Константина.

Несколько семинаристов в холщовых подрясниках, размахивая руками, сумбурно спорили о литературных новостях. Наконец один из них, перекричав всех, заставил слушать себя.

— Что б вы ни говорили, господа, о кулачных нравах в нынешней журналистике, вы согласитесь со мной, что необыкновенно интересно следить за этой борьбой разных партий и мнений, борьбой, часто пересыпаемой изрядной бранью, но все же живой, энергической. Всех виднее в этой перепалке «Современник» с Чернышевским — этим бесцеремонным семинаристом-социалистом. Славно — что ни говори — отделяет он кой-кого. Борющиеся стороны или лагери страшно перепутываются. Чичерин ратует за выделение в изолированное сословие дворянства, а Громека и Бестужев-Рюмин стреляют в него из «Отечественных записок» здоровенными залпами. «Современник» колотит по носу славянофилов, вопиет о бедствии пролетариев и частит по-русски праздную умозрительную философию. Буслаев, любитель и поклонник народности, пушит духовенство и славянофильское учение о русском народном духе, а «Современник» в лице Пыпина катает и Буслаева.

Аксаков со своим «Днем» отстреливается исподтишка, а Соловьев мечет стрелы в Костомарова за его увлечения и «богопротивную» статью о басне, будто Сусанин спас царя. Соловьев говорит: «Спас! Костомаров соврал!» — и обнаруживает поползновение объяснить дело духом народа, по-славянофильски. Вот как! Соловьев, западник, не прочь протянуть руку славянофилам? Славная вообще возня идет в журналистике!

Не так ли думал и сам Максимов несколько лет тому назад, едучи в Сибирь? Теперь ему казалось, что литературные партии переборщили во взаимной перебранке. Не друг друга обличать, не запугивать идейных противников надо, а совместно, единым фронтом отвоевывать у правительства свободу. Всем заодно надо быть, чтобы цензуру свалить, а не стараться побольнее уязвить пишущего собрата.

Взять историю с Писемским. Сначала обругали его ре-акционером за фельетон, помещенный в «Библиотеке для чтения», в котором были вполне добродушные усмешки над чтениями в Пассаже да над воскресными школами. Потом Курочкин даже на дуэль вызвал Алексея Феофилактовича за какую-то очередную публикацию «Библиотеки», направленную против «Искры». Немудрено, что Писемский отвернулся от недавних единомышленников и решил с ними посредством «Взбаламученного моря» расквитаться.

А теперь его с особым ожесточением травят, навалились всей кучей на одного и топчут. Вместо спора, выяснения истины — сильные крики с булгаринскими интонациями.

Чем дальше вниз по Волге, тем больше разнообразие национальных типов. За Царицыном на пароход стали грузиться немецкие колонисты — гладко выбритые мужики в шляпах с перышком, в городском платье, похожие не столько на крестьян, сколько на петербургских булочников. Вокруг Сарепты, небольшого городишка,

выбежавшего на крутой обрывистый берег, клубились сады. Там и сям торчали остроконечные шпицы кирх.

Потом потянулись голые берега с редкими калмыцкими кибитками. На нижней палубе появились широкоскулые оборванцы с темно-коричневыми чумазыми лицами. Ближе к Астрахани в толпе пассажиров замелькали красные бороды персов, черные чухи армян, обшитые серебряным позументом.

— Настоящий карнавал, — сказал один из пассажиров первого класса, указывая на палубу, кишевшую народом. — Русак в красной косоворотке, немец в черном сюртуке, перс в шелковом халате, цыган с серьгой в ухе и в зеленой рубахе...

— Скажите после этого, что Россия — православное царство, — недовольно заметил дьякон в замызанной рясе. — У нас в Астрахани — что в Вавилоне. На басурман глядя, и наш мужичок проделкам разным выучивается.

— Но и хорошее что-то перенимает, — возразил господин, любовавшийся пестрым людским базаром.

Дьякон ничего не сказал, только в воду сплюнул. Максимов подумал, что с ним нашел бы общий язык Писемский...

Узнав, что приятель опять собирается в путешествие по заданию Морского министерства, Алексей Теофилактович одобрил его решение:

— Дерзай, Сергей, пока молод, пока охота есть.

Но когда Максимов объявил, что отправляется в низовья Волги, на Урал и Каспий, Писемский даже сморщился.

— Эвона что! Нешто тебе лучше места не нашлось — ехал бы в Крым, в Грузию... А Юго-Восток наш — тьфу! Кто тебе только нахвалил его? Я до сих пор, будто в страшном сне, вспоминаю, как в «литературную экспедицию» туда поехал. Едва лишь выбрался, всего лихорадка истрепала. И чего ты там найти думаешь, какую такую премудрость

восточную понять желаешь? Да у нашего костромского мужика в пятке больше ума, чем у целого улуса тамошнего. Ничего там нет — ни людей, ни природы.

— Так-таки ничего? — усомнился Максимов.

— Ну разве что по гастрономической части... — Писемский поскреб бороду и мечтательно возвел глаза к потолку. — Помню, приехал я к астраханскому откупщику Фейгину... Осетрина разварная, виноград соленый... Эх, не совру, сейчас бы полпуда один умял!

Алексей Феофилактович не преувеличил своих возможностей. Не раз видал его Максимов в Палкинском трактире, в «Афганистане», в «Малом Ярославце», единоборствующего с целым окороком и батареей бургундского. Как-то встретил его выходящим от Дюнона. На Писемского смотреть было страшно — спускался по лестнице с превеликим трудом, охал, держась за живот.

— Что с вами?

Подхватив Алексея Феофилактовича под руку, Максимов помог ему одолеть ступеньки.

— Да понимаешь, Сергей, незадача какая. Странная птица гусь: одного мало, а двух — охо-хо, тяжеленько съесть.

— Так зачем же вы так, оставили б...

— Э-э, скажешь тоже. Он ведь вкусный, вот в чем драма, милый ты мой...

В Астрахани Максимов смог убедиться в справедливости рекомендаций Писемского. Отменные блюда из рыбы подавались в любом трактире. Свежепросоленная икра, какой никогда не довозили в столицу, стоила баснословно дешево. У рыбаков в артелях на нее и смотреть не хотели.

Как-то при Максимове старшой бранился на молодых работников, постукивая деревянной ложкой по миске с икрой:

— Что не жрете, анафемы?

— Обрыдла. Вобла ужовистее.

Писателю вспомнилось, что и поморы предпочитали царской рыбе — семге — «плебейскую» треску. Когда он рассказывал об этом петербургским знакомым, те непонимающе пожимали плечами — совсем в духе французской королевы Марии Антуанетты, считавшей, что крестьянам за неимением хлеба следует питаться пирожными.

Во время одного из своих объездов рыбацких тоней в низовьях Волги Максимов встретился с давним знакомым, коллегой по Русскому географическому обществу — Николаем Яковлевичем Данилевским.

Сорокалетний естествоиспытатель уже не в первый раз приехал в эти места. Он бывал здесь в составе большой экспедиции Академии наук, исследовавшей все стороны жизни Каспия, и занимался изучением проблем рыболовства. Теперь он собирал материалы для огромного труда о состоянии этой отрасли народного хозяйства России, первые тома которого, написанные в соавторстве с академиком Бэрром, уже были изданы Министерством государственных имуществ. Для Максимова такой человек был сущей находкой. И действительно, Данилевский рассказал ему о наиболее интересных местах промысла, посоветовал, где можно найти характерный уклад жизни, сохранивший приметы старины.

— Первым делом надобно вам на реке Урал побывать. Вот это действительно заповедник старинного общинного быта. Для этнографа тот край — сущее Эльдorado. Да и любителю песен, сказок есть, чем поживиться, — про Пугача Емельку до сих пор помнят...

Коренастая фигура ученого, широкое славянское лицо с окладистой бородой, сильно поседевшей, делали его самого похожим на казака-станичника. Максимов подумал, что, если бы у него был на Урале такой попутчик, патриархальные туземцы, крепко державшиеся старообрядческой «отчины и дедины», прониклись бы к путеше-



ственникам особым доверием. Его собственные треклятые очки в тех местах явно не вызовут на откровенность. Когда Данилевский выслушал эти соображения, он улыбнулся и сказал, что казаки уральские не в пример прочим обитателям Русского царства живут в довольстве и в полной воле, оттого у них не встретишь той опасливости, которую вызывает лапотное племя.

— Рад бы составить компанию, да дорога в ту сторону не ложится. И потом, Сергей Васильевич, у нас с вами различные объекты интереса: вы людьми занимаетесь, я — рыбами... Хотя, если глядеть в корень, как велит Козьма Прутков, несходство чисто внешнее...

— Может, потому и говорят в народе: человек ищет, где лучше, а рыба, где глубже, — со смехом продолжил Максимов.

— А что, ежели всерьез, то меня наблюдения над рыбами, над животным миром в целом наводят на определенные выводы относительно человеческой природы, особенно характерных черт различных наций.

— То есть?

— Я свои выводы пока не сформулировал, зреет во мне несколько идей... Но, в общем, можно сказать: разные породы рыб создают разные типы культур, если так можно выразиться, осетры никогда не станут жить так, как вобла. То же справедливо для культур человеческих, оттого столь резкие несходства в стиле жизни, в общественных институтах разных рас и наций. И главное, на мой взгляд, — невозможно заставить один народ жить так, как привычно его соседу. Словом, осетру воблой не быть.

— А как же заимствования, подражание?..

— Вот об этом как-нибудь прочтете на журнальных страницах — если даст бог мысли свои изложить со всей возможной аргументацией... Задумал я большую работу о судьбе России и ее отношении к Западу.

Максимов привык уважать тайну замысла и не стал выспрашивать дальше. Но высокий авторитет Данилевского как ученого-естественника, к тому же некогда бывшего одним из видных социальных мыслителей кружка Петрашевского, позволял предположить, что обещанное сочинение действительно будет значительно по богатству идей. Его самого все больше занимали вопросы самобытности и универсальности в национальной культуре — от решения их во многом зависели судьбы русского общественного бытия. Ежели культура эта неповторима, если невозможно присоединение России к западной цивилизации и усвоение ее принципов самим народом, то и политико-социальные учения европейских мыслителей не про нас. Надо, следовательно, вырабатывать политический идеал, исходя из собственной истории и быта, а это то, к чему зовут славянофилы. Путь долгий, темный, неведомый. Если же есть какие-то вселенские начала, которые вполне гожи и нашему мужичку, то зачем изнурять себя поисками общественного идеала, бери готовое и мчи семимильными шагами к прогрессу, свободе, к слиянию с человечеством. Тогда, кстати, и само изучение народного быта под другим углом надо вести — искать в нем черты этой самой всеобщности, всечеловечности. Тут главное, тут капитальный пункт..

Река Урал и быт населяющих ее казаков издавна привлекали внимание славянофилов. В кружке Островского одним из желанных гостей был Иоасаф Железнов, талантливый литератор-самоучка, служивший сначала адъютантом командира казачьей сотни, а позднее занимавший ряд довольно высоких должностей в войске. Его рассказы о самобытном устройстве самоуправления, о колоритных сторонах быта земляков, печатавшиеся в «Москвитянине», способствовали тому, что об уральцах заговорили как о хранителях исконных нравственных

понятий русского народа, в значительной степени утраченных в послепетровскую эпоху.

Собираясь летом в новую поездку, Максимов представлял себе, как после многих лет разлуки увидит добродушное скуластое лицо Железнова, услышит его картинные рассказы об удалых рыбаках, выходивших на утлых бударках в беспокойное море, об «ударе», во время которого тысячи казаков разом бросаются на лед Урала, чтобы бить баграми залегших в ямы осетров. С таким провожатым, как Иоасаф Игнатьевич, он рассчитывал увидеть все те сокровенные уголки казачьего быта, куда не так-то просто заглянуть постороннему.

И вдруг — страшная новость. Газеты сообщили, что 10 июня 1863 года Железнов застрелился в Уральске. От общих знакомых Максимов узнал, что смерть эта — результат интриг, затеянных наказным атаманом против Иоасафа Игнатьевича, незадолго перед тем выбранного ассессором войскового правления.

Прибыв в столицу уральского казачества, Максимов слышал подробности того, как невежественные солдафоны затравили талантливого человека. Трагедия взволновала всех.

— Пропала наша застоя, — скорбели казаки, знавшие Железнова как честного и справедливого человека, вступавшегося за интересы простых людей...

Друзья Железнова — их было немало и среди офицерской верхушки — также негодовали. Кто-то предложил назвать именем патриота родного края самую большую площадь Уральска, эта идея широко обсуждалась в момент приезда Максимова...

Город жил предвкушением «плавни» — осеннего промысла красной рыбы. По улицам тарахтели сотни телег торговцев, съехавшихся из приволжских губерний; празднично одетые казаки — в бухарских халатах, под-

поясанных расшитыми кушаками, — толпились возле лавок, закупая провизию и снаряжение.

— Точно вы, Сергей Васильевич, подгадали, — говорили писателю в войсковом правлении. — На днях снимаемся. Такую красоту пропустить никак не можно.

Пока оставалось немного времени, Максимов занялся расспросами среди станичников и войскового начальства о том, как организована хозяйственная жизнь уральского казачества. Когда он ехал сюда, его поразило почти полное отсутствие возделанных полей, хотя земля здесь была богатая — жирный степной чернозем.

— Чем же живете, братцы? Откуда хлеб берете?

— Покупаем, ваше благородье. Нам в земле да в наземе не пристало копаться, на то иногородние есть. Вот им свои надель и сдаем иной раз. Нас батюшка Урал прокормит завсегда.

— Так-таки одной рыбой и живете?

— Почесть что так. Ну разве что сенца накопишь скотинке. А главный прибыток от речки нашей богоданной, подай ей Господь покою на веки веченские...

Казачи испытывали к Уралу благоговейное почтение, будто он был живым существом. Да так о нем и говорили, как об одушевленном чем-то. Запрещалось плавать на лодках; если кому-то надо было попасть в низовые станицы, ехали на подводках берегом. Даже шуметь и кричать у воды считалось святотатством. Специально наряженная стража наблюдала за тем, чтобы никто не потревожил покоя реки. Объяснялось это боязнью спугнуть рыбу, накапливавшуюся по глубоким ямам в русле Урала. Но в какой-то степени такое отношение отражало мистическое преклонение перед природными силами, наградившими казачье войско таким «золотым доньшком».

Кое-как упросило начальство, чтобы войсковое правление разрешило Максиму пройти по учугу — бревен-

чатоуму заколу, протянувшемуся от берега до берега в самом Уральске. Пребывание на этом сооружении дозволялось только сторожам, наблюдавшим, как бы кто-нибудь не побеспокоил осетров и белуг, тысячами стоявших под учугом...

На плавню выезжали разом десятки станиц. Гигантский обоз двигался по степи многими параллельными колеями, растянувшись на несколько верст в ширину. Даже такой способ рассредоточения не спасал тех, кто шел сзади, от пыли. Многоверстное облако закрывало солнце, и едущие на промыслы закутывались в бешметы и обвязывали голову и лицо полотном. В телегах лежали будары — легкие лодки, выдолбленные из одного ствола, мешки с плавными сетями, сундучки со съестными припасами.

Позади воинского обоза громыхали пустые повозки купцов, налетавших из ближних губерний. Казаки сами пойманную рыбу домой не возили, все продавали сразу же на берегу во время плавни. Исключительная привилегия на участие в лове, предоставленная им, делала их полновластными хозяевами реки и ее обитателей...

Начало плавни представляло собой весьма живописное зрелище. На крутом берегу на несколько верст растянулись бударки, поставленные носом к воде. На гребне стояли команды суденышек, готовые по сигналу атамана броситься вниз. Все смотрели на палатку, где помещалось начальство. Ждали знака, но никто не знал, каким образом он будет подан: то ли окажется это взмах платком, то ли выпалят из ружья.

На этот раз атаман вошел в палатку, незаметно вылез с другой стороны, где была установлена маленькая пушка, и сунул папироску в запал...

Едва до слуха Максимова донесся звук выстрела, как ровный строй бударок сломался. Будто сметенные ветром с откоса, гребцы схватили лодки и, поднимая тучи брызг,

бросились в воду. Заработали веслами с такой скоростью, что в считанные минуты бударки были уже на середине, и рыбаки принялись выметывать сети. Покрытая сотнями, а может быть, и тысячами лодок, река словно бы закипела под ударами весел, всплесками наплавов, ударами рыбьих хвостов — первые трофеи забились в сетях.

Флотилия медленно сплывала вниз. Максимов стоял на высоком берегу рядом с плавенным атаманом и любовался живописной картиной. Обступившие их казаки, назначенные на этот раз смотреть за порядком плавни, с завистью наблюдали за происходящим внизу. Для каждого участие в лове было не только испытанием рыбацкого счастья, но и своего рода праздником, на котором можно было показать свою сноровку и лихость.

— В отношении прибытка никого не обидят, — объявлял атаман. — Каждому, кто по выборам участвует в организации плавни, положена доля, определяемая по результату улова. Да не в ней дело, у меня у самого руки чешутся туда вниз кинуться да на веслах приударить...

Казачья община справедливо распорядилась богатством реки. Каждый имел равные права по участию в лове. Тем, кто находился на службе вдали от дома, выделялась доля от улова — в денежном ее выражении. Таким образом, семья казака бывала обеспечена. Если рыбак заболел во время плавни, и ему выделялась доля. Из общинных доходов поддерживались вдовы и сироты, а также престарелые, оказавшиеся без кормильцев. Социальная справедливость свято поддерживалась испокон веков, за ее соблюдением зорко смотрело войсковое правление.

Рассказ об этом разумном и во всех отношениях человеколюбивом устройстве хозяйственной жизни общины вызвал в памяти Максимова много раз слышанные разговоры в петербургских гостиных. Социализм не надо насаждать, его начатки уже есть в народной жизни — таково

было мнение последователей Герцена, так считали и более радикально настроенные поклонники Чернышевского. Сегодня Максимов собственными глазами убедился в том, что у казаков есть, чему поучиться, что их общественную жизнь вполне можно взять за образец гражданам фаланстера. Но вот насчет коммун, насчет обобществления собственности они вряд ли поймут петербургских нетерпеливцев.

Бывая в общежитительной коммуне, устроенной Василием Слепцовым, писатель отмечал, что она не производит впечатления сообщества здоровых людей с ясным мировоззрением. Что-то было в ней от богадельни. Да, для полунущих барышень из провинции, к тому же дурнушек, такое совместное ведение хозяйства — выход из бездоля. Но предлагать подобный образец всему молодому поколению — это чистой воды прожектерство. Все это хорошо на бумаге, романист сколько угодно может рисовать идиллические картинки коммунального житья, однако не дай бог, чтобы когда-нибудь привелось испытать его на себе целому народу.

Первый день плавни завершился тем, что в торжественной обстановке была вынута икра из самого большого осетра, затем опытный старый казак тут же на берегу засолил ее и уложил в бочонок. Это на «царский кус», который будет с фельдъегерем отправлен в Зимний дворец, объяснил атаман. Повелось такое обыкновение со времен Алексея Михайловича, даровавшего казакам богатую реку в вечное пользование...

Узнав, что Максимов собирается плыть морем до крайнего пункта русских владений на Каспии — Ленкорани, — наказной атаман в городе Гурьеве, что на устье Урала, сказал:

— На обратном пути не минуете устья реки Куры. Остановитесь там на Божьем Промысле. Красная рыба тамошняя — вкуснее во всем свете не найдете. Хоть и грех мне Урал-батюшку хулить, а против истины не пойдешь.

— Меня не столько рыболовные артели в те места привлекают, сколько сектантские коммуны. Говорят, там целый букет всяких толков — рай для исследователя народности.

— Бывал я и у них. Да только сумнительно мне, что вы такими песнями, сказками, как у нас, разживетесь. Ведь то сектаторы из молокан и жидовствующих — не нашего семени, хотя и на нашей почве взрослые. У них преданий русских не запишете...

Ленкоранский уезд поразил Максимова обилием водоплавающей птицы. И море, и бесчисленные озера были покрыты огромными стаями уток, гусей, цапель, пеликанов, слетевшихся на зимовку из северных губерний России. Хотя начался декабрь, здесь было тепло по-летнему, цвели кусты роз в садах, ветви деревьев, отягощенные плодами, склонялись до земли.

Едва писатель устроился в гостинице и лег спать, как кровать под ним заходила ходуном. Вскочив с постели, он обнаружил, что и пол непрерывно сотрясается. С потолка сыпалась штукатурка. Полуодетый путешественник вылетел на двор, где чадили большие чугунные котлы, подвешенные над огнем. Повар, толстый армянин, пробовавший приготовленную пищу, успокоил взволнованного гостя: это небольшое землетрясение, здесь они часто бывают.

В справедливости его слов Максимов убеждался не раз, пока путешествовал по Закавказью. Но привыкнуть к грозному явлению природы так и не смог. Слишком памятны были ему рассказы о гибели Шемахи, административного центра губернии, после чего в 1859 году местной столицей стал Баку.

Первой целью писателя была населенная раскольниками деревушка Вель, расположенная в 12 верстах от



Ленкорани. Наняв пароконный экипаж, он отправился туда берегом моря.

Накануне выпал обильный снег, и теперь он бурно таял. Ручьи наполняли воздух тысячеголосым журчанием. Крикливые чайки стаями носились над отмелью, кидались вниз, чтобы выхватить у пеликанов рыбу. Возница жаловался, что настоящей зимы тут не увидишь, этот-то снегопад — и то в диковинку. Не нравилась ему и природа здешняя — то болота, то камни. Он был из старообрядцев, переселенных сюда с Иргиза, степной реки восточнее Волги.

— Сколько годов уж тут живем, а все плачемся, все не приноровились к здешнему народу — того и гляди, обворуют, ограбят. Прямо из окна выхватят, ежели что увидят.

— Но ведь и там вы среди инородческого племени жили. И там места суровые.

— Э, барин, на Иргизе жить можно было. Степняк нас не забижал, скотишко наш не трогал... А луга там, знаешь, какие!..

Максимову подумалось, что русский человек, хоть и не прочь поискать места получше, согласен на переселение только по своей воле. В противном случае покинутая родина кажется ему во сто крат милее новой, хотя бы и более богатой. Не зря так скорбели о разоренном Топозерском ските беломорские старообрядцы, хотя жизнь там была суровой и скудной.

Во времена Николая I преследования религиозных «отщепенцев» проводились с большим рвением. Именно в это царствование Ленкоранский уезд стал местом ссылки сектантов и раскольников. Среди мусульманских селений возникли деревни с русскими названиями — Андреевка, Астраханка, Новоголка, Привольное, Пришиб. Каждая из них была населена общиной одного толка: «прыгунами», «хлыстами», «субботниками». По мнению правительства,

последователи этих учений весьма отрицательно воздействовали на православных, и посему их постарались выдворить в среду недружественного мусульманского населения, где их проповедь не могла иметь шансов на успех. На этом попечение о судьбе ссыльных и закончилось, они были предоставлены сами себе.

Писатель надеялся, что ему удастся воочию увидеть то коммунистическое устройство, которого придерживались иные секты. В Петербурге с большим почтением говорили об этом, особенно усилился интерес к религиозному инакомыслию после того, как Василий Кельсиев сообщил, что в Лондоне неправославные секты считают не столько формой верований, сколько политической партией, по необходимости облекшейся в религиозные доспехи. Симпатизируя социалистическим теориям, Максимов отчасти принял и убеждение в том, что секты — своего рода резерв социальной революции. Ведь они стояли за возврат к коммунистической утопии первохристианских общин.

Встречи с сектантами подтвердили слухи об их внутреннем укладе. Особенно характерной в этом смысле оказалась группа крестьян, переселенных в 40-х годах из Самарской губернии. Теперь они занимали большую часть селения Кизил-Агач — сами они перекрестили его в Николаевку, вероятно, в память Николаевского уезда их родины. Принадлежали они к последователям «пророка» Михаила Акинтьевича Попова, который учил, что все у них должно быть общим. Оттого и секта именовала себя «общие».

В Николаевке действительно отсутствовала личная собственность, даже одежда и посуда принадлежали любому из «братьев». Называли они друг друга голубчиками и иными ласковыми обращениями пользовались. Единственное, что не подлежало общинному разделу, — это мужья и жены. «Коммунары» не курили, не пили спиртного, не ели свинины, принимая за образец ветхозаветную мораль.

Однако сектантская идиллия не очень-то увлекла Максимова. Слишком постное бытие было далеко от идеала деятельного человека, жизнь «общих» казалась лишенной чего-то очень важного, главного. Праведность имеет свойство утомлять. Соседи «общих» — старообрядцы — относились к жизни куда более деловито: не согрешишь — не покаешься. И хотя нравственность у них также стояла на высоте, в их селах не ощущалась скука, они поражали своей энергией, оборотистостью.

В Пришибе писатель встретился с «субботниками». У этих совсем не хотелось учиться социальности — вся их оппозиция правительству состояла в том, что они читали по-еврейски, делали себе обрезание и назывались «герами», то есть пришельцами. Местный исправник резонно заключил, что подобных революционеров в любом литовском местечке сколько угодно.

Через неделю Максимов уже начал путаться в названиях толков и сект. Одних только «молокан» — «общие» были из их числа — оказалось несколько разновидностей: «уклейны», «веденцы», «прыгуны». Попадались и «скопцы» — желтолицые, с реденькими бородками, с писклявыми голосами. Эти сражались с дьяволом, отсекая его главные орудия. Впрочем, и они подходили к делу весьма дальновидно: орудия Вельзевула упразднялись лишь после создания с их помощью наследников скопческого учения.

Возможно ли чему-то научиться у религиозных отщепенцев? Василий Кельсиев отвечал на этот вопрос утвердительно. Вслед за ним и другие участники радикальных кружков повторяли: общинный быт сектантов можно взять за образец, если, конечно, отбросить их религиозные взгляды. Уравнение социализма, предлагавшееся иными из реформаторов, выглядело так: религиозная община минус религия плюс научное мировоззрение. Сейчас Максимов видел абсолютную беспочвенность

таких построений. Выстоять в условиях ссылки, сохранить благостное состояние души и доброжелательность друг к другу сектантам помогала прежде всего религия. Форма общины была следствием, а не первопричиной. Так что учения Фейербаха, Бюхнера, Молешота и Бокля, столь популярные у молодежи, должны были иметь совершенно иное соответствие в смысле организации общественной жизни. Альтруизм сектантов ничего общего не имел с «разумным эгоизмом» рационалистов. Одно их объединяло — фанатизм. Но если на фанатизме веры можно продержаться всю жизнь, то фанатизм безверия с неизбежностью быстро выдохнется...

Остался позади чудесный Баку. Едучи по каменистой равнине Апшерона, Максимов все возвращался воображением к морю, в лазурную бухту, окруженную амфитеатром невысоких гор, на которых рассыпался город. Узенькие улочки средневекового квартала Ичери-Шехер — на каждом повороте открываются то острый минарет, то куполообразная крыша бани, то стрельчатые ворота караван-сарая. Крики разносчиков сладостей, рев ослов и верблюдов, доносящаяся откуда-то пряная мелодия зурны. Адворец ширваншахов с его удивительными двориками, с черными ямами зинданов — земляных тюрем, — из которых несет сыростью и тленом! В таком городе, полном преданий, населенном приверженцами всех вер и культур, можно прожить хоть год — неспешно, умиротворенно, в довольстве собой и людьми. Посиживать в кофейне, покуривая кальян с индийской травкой, по временам запуская щепоть в блюдо с шербетом. Толковать с соседями по махалле. Когда зайдет солнце, распаривать кости на прогретом мраморном ложе в турецкой бане...

Потянулись красноватые голые холмы, там и сям белели, как снег, соляные озера. Нищие селения с тощими минаретами выходили на дорогу глухими глинобитными

стенами. Редко-редко мелькнет на улице женская фигура в чадре. Да и представителей сильной половины не часто увидишь. Жизнь здесь спрятана от стороннего глаза, неслышно тлеет за этими неказистыми дувалами.

Все попадавшиеся Максиму встречные — всадники и пассажиры экипажей — были вооружены. У кого пара пистолетов за кушаком, у кого сабля или, на худой конец, кинжал. Еще в Ленкорани писателю советовали запастись хоть каким-нибудь оружием: не уважают на Кавказе путешественников без знаков мужского достоинства. Но Максимов решил отдаться в руки провидения и отправиться в странствие безоружным. Никогда, даже в детстве, не было у него страсти к охоте, не замечал он в себе воинственности, к чему же напускать на себя не свойственный ему грозный вид?

Ямщики-мусульмане в бараньих шапках, из-под которых непременно выглядывает обритый затылок, часто поворачивались к седоку и осуждающе цокали языком: «Как в дорогу без кинжала едешь? Пропадешь, барин». Каждый из них считал своим долгом рассказать о разбойниках, о ворах, обрезающих чемоданы с брочек. И никто из них не соглашался ехать ночью.

По дороге из Баку в Кубу писателю пришлось дважды остановиться на ночлег в убогих караван-сараях, служивших почтовыми станциями. Грязь, теснота да еще рассказы о скорпионах и фалангах. Хотя его и снабдили на дорогу необъятной буркой, он все же не чувствовал себя в безопасности.

Ну хорошо, ты укутался буркой шерстью наружу — это, как говорили, предохраняет от нападения ядовитых насекомых. Но голову-то не станешь всю ночь держать закрытой, разоспишься и высунешь лицо. Тут-то и вскочит тебе на щеку гнусная тварь с изогнутым чешуйчатым хвостом и начнет колотить своим жалом куда попало...

Пролежав около часа с такими мыслями, путешественник не вынес и вскочил с топчана. Вышел на двор.

Станционный смотритель, русский переселенец в новом форменном сюртуке, вопросительно посмотрел на постояльца. Узнав, что тот боится скорпионов и иной насекомой нечисти, презрительно присвистнул:

— Да мы их вот так.

И провертел каблуком воронку в глинистой почве. Однако в лице его было при этом столько гадливости, что писатель подумал: а если вы, милостивый государь, этого зверя у себя за пазухой словите?

— Знаете что, — вдруг оживился смотритель. — Если не спится, я вам сейчас занятную травлю покажу... Эй, Гришутка, есть у тебя скорпионы?

— Сидят, голубчики, в банке, — отозвался служитель, дремавший у камелька в углу двора.

Через несколько минут в одном из помещений каравансарая собрались все его обитатели — несколько персидских и армянских купцов, ямщики из местных татар, старообрядец в армяке и красных валенках.

Посреди комнатушки поставили большой медный таз, вокруг засветили несколько плашек с нефтью. Два жирных скорпиона, выпущенные из банки, забегали по медному ристалищу, воинственно воздевая хвосты.

Схватка длилась несколько мгновений. Один из бойцов, потеряв сначала ногу, потом хвост, забился в конвульсиях и издох. Затем победитель одолел еще одного скорпиона и устало присел, уныло повесив натруженное жало.

Однако заскучать ему не дали. Мальчишка принес фалангу — ядовитого мохнатого паука. Вероятно, бои насекомых были здесь обычным делом, коли «гладиаторов» держали наготове, заключил Максимов.

Как похожи люди без различия веры и национальности! В Москве процветала медвежья травля, на дачу Сосова у

Рогожской заставы съезжались сотни купцов и мещан, чтобы поглазеть, как несколько бульдогов станут терзать Топтыгина. В иных местах обожают петушиные бои, собачьи поединки. Да не извелся еще обычай кулачных битв в приволжских городах — все мужское население выходит стенка на стенку. У степняков во время баранты — угона лошадей — тоже происходят кровавые потасовки. В смиренных черноземных краях соседние деревни с ожесточением дубасят ближних вилами, секутся топорами. Да и в дворянском обществе приверженность к насилию не изжита — то и дело читаешь о дуэлях со смертельным исходом.

Как этнографа, его давно занимал вопрос о широком распространении у разных рас, народов и сословий состязаний и потех, основанных на созерцании крови, насилия. Велик соблазн провести параллель между идущим от биологической сущности человека культом силы и социальной борьбой! Во всяком случае, поклонники дарвинизма часто переносят законы животного царства на человеческое сообщество. Да и Данилевский, который вроде бы в противниках Дарвина числится, идею биологизма не прочь на общественную жизнь примерить...

Не правильнее ли думать, что созерцание борьбы за жизнь, а тем паче участие в кровавых ристаниях так же притягательно, как стремление заглянуть в бездну. Остановиться на краю гибели, пройти по узкому карнизу, балансируя над небытием, — может быть, это своего рода ритуал, необходимый всему живому для возбуждения внутренних сил, поддерживающих жажду бытия?

Страдание приносит очищение — возможно, этот постулат многих религий имеет первопричиной ту же самую необходимость постоянного удержания яркости бытия. Не оттого ли так много самоистязательных сект и толков, не из этих ли нужд возник утонченный механизм психологического самобичевания, разработанный столпами веры?

Насмотревшись на «хлыстов», «прыгунов» и «скопцов», подвизавшихся в лоне христианства, Максимов решил посетить шествие мусульман-шиитов, происходившее в десятый день мухаррама, строгого поста, обязательного для приверженцев ислама. Именно для этого писатель ехал в Кубу, маленький пыльный городишко в предгорьях Кавказа.

О странном действе, разыгрывавшемся там ежегодно, говорил Максиму еще Писемский, отец которого в начале века служил военным комендантом Кубы. Его рассказ о диковинном зрелище, названном русскими солдатами «чуксей-ваксей», запомнился Алексею Феофилактовичу...

Мухаррам предшествовал ноурузу, празднику весны. Накануне в городок собрались сотни паломников со всей Бакинской губернии. А рано поутру началось шествие.

Максимов смотрел на происходящее с балкона дома местного градоначальника. Огромная толпа краснобородых бритоголовых оборванцев двигалась по улице, оглашая воздух стенаниями и воплями: «Ша-Хуссейн! Ва-Хассан!» Именно эти заклинания, переиначенные на русский слух, и приладили солдаты для обозначения «крестного хода» самоистязателей.

Над толпой то и дело взлетали цепи и кнуты, чтобы затем опуститься на окровавленные плечи и спины. Свирепые, налившиеся кровью лица, головы, седые от пепла, вздувшиеся рубцы на смуглых спинах — от одного вида «праведников» Максимова в пот бросило.

В религии тоже есть свои нетерпеливцы и постепенцы. Первые шли теперь посреди улицы, оплакивая страдания некогда убитых Хуссейна и Хассана — детей двоюродного брата пророка Мухаммеда. Вторые стояли по обочинам, вежливо провожая взглядами беснующихся. Вся эта картина весьма напоминала то, что происходит



ныне в общественной жизни Петербурга, думалось Максиму. Меньшинство идеалистов, истязая себя, надеются таким образом как бы разделить страдания угнетенных, большинство, хотя и сочувствуют этим угнетенным, полагают, что помогать им можно и без таких пылких выражений сочувствия «горю мужицкому». Первые спешат, им кажется — еще один удар плетью, и за страданием начнется блаженство, мучение преосуществится в вечную жизнь...

— А дальше в какие края стопы направляете? — Вопрос хозяина дома прервал мысли писателя.

— О, путь неблизкий. Дербент, Петровск, Астрахань, Гурьев.

— Выходит, теперь обогнете Каспий посуху?.. Нелегкая дорога — пески, степь. Ветрище там — с ног валит. Эх, моя бы власть, я бы вас заарестовал этак до апреля. В самом деле, оставайтесь. У нас тут праздник за праздником. Завтра сами увидите, как весело: целый день пальба на улицах, за городом на лугу джигитовка. Театр опять-таки — у мусульман ведь все наоборот: у нас великим постом представления отменяются, у них — всякий день спектакль, дабы скучное время убить.

— Меня в каждом городе подмывает подольше остаться, — признался Максимов. — Все поподробней узнать хочется, до сути добраться. Но потом подумаешь: а впереди-то сколько всего, десяти жизней не хватит, торопись...

## ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА

**19** мая 1864 года Максимов стоял среди толпы, запрудившей Мытную площадь. Рядом с ним были Павел Якушкин и преподаватель словесности Технологического института Александр Моригеровский, сотрудничавший в «Русском слове». По сторонам виднелись знакомые лица — журналисты, писатели, коноводы студенческой молодежи. Все смотрели на высокий помост, сооруженный посреди площади.

Над нехитрой постройкой, сработанной из бруса и выкрашенной в черный цвет, торчал столб, с которого — на высоте человеческого роста — свисали две цепи с кольцами на концах.

Тишина стояла такая, что слышно было, как шуршит, падая на зонты дам, морозящий дождик. Солдаты со штуцерами, окружившие помост, застыли, словно статуи. Даже конные жандармы и городовые, образовавшие вторую линию оцепления, смотрели торжественно и скорбно, словно могильщики.

Позади интеллигентной публики сгрудились кучки мастеровых, извозчиков, фабричных. Оттуда изредка доносились возбужденные голоса: «Супротив государя умышлял, фармазон!», «Из господ... Недовольствовал, бают, что анператор Ляксан Николаич христьян ослобонил», «Чтоб у него, езуита, печенки полопались!».

Вдруг толпа дрогнула. В углу площади показалась карета. Когда она подъехала к эшафоту, из нее вышли два дюжих мужика в черных кителях и штанах, заправленных в сапоги, встали возле столба с цепями, сложив руки по швам.

Следом за первой подъехала еще карета. Из нее вывели невысокого белокурого человека в пальто, в золотых очках. В сопровождении жандармов прибывший поднялся на эшафот, за ним последовали чиновник в треуголке и вицмундире и двое в штатском.

Чиновник достал из папки несколько листков и принялся оглашать приговор дворянину Николаю Гаврилову Чернышевскому. Пока длилось чтение, в дальних рядах, где собралось простонародье, раздавались проклятия в адрес виновника церемонии, да и господ, стоявших возле цепи городских, не щадили правдолюбцы: «Небось кисло стало, статуй чертов, как повязали тебя?! А не бунтуй, не умышляй супротив народа православного!», «Да и этих шельм туда же бы, пушай бы в каторге ломом помахали», «Отъелись, идола, спать ложатся — и то конфекту в рот кладут, вот вам крест, братцы».

Якушкин болезненно кривился, слушая ропот любезного ему народа. Максимов сжал его руку: успокойся, брат, Яну Гусу тоже старушка дровец в костер подбросила. Но Павла Ивановича все снедало желание хоть что-то сделать сейчас, немедленно. Едва чиновник закончил чтение бумаг, он вырвался из толпы и бросился к эшафоту.

Красная рубаха и плисовые шаровары Якушкина действовали на жандармского офицера, как удар кнутом. Он вздрогнул и не своим голосом закричал: «Павел Иванович, Павел Иванович, это невозможно!» Но Якушкин, сдерживаемый городовым, никаких уговоров слушать не желал и все повторял, что осужденный — близкий ему человек, что ему необходимо проститься с ним. Утихомирил-

ся он лишь тогда, когда офицер дал ему слово разрешить свидание в крепости перед отправкой узника по этапу.

Палачи тем временем проделали руки Чернышевского в кольца цепей и заставили его опуститься на колени. На шею ему повесили дощечку с надписью «Государственный преступник». Над головой осужденного сломали шпагу в знак лишения прав состояния.

После того как карета с Чернышевским тронулась от эшафота, из толпы был брошен небольшой букетик, попавший прямо в маленькое окошко, где виднелось бледное лицо Николая Гавриловича. Жандармы немедленно вытащили из публики нескольких стриженных барышень и повели их в ближайший полицейский участок.

Максимов с Якушкиным и Моригеровским не уходили от помоста с позорным столбом еще долго после того, как народ разошелся и было снято оцепление. Все трое чувствовали себя опустошенными, ни говорить не хотелось, ни идти куда-нибудь. Наконец преподаватель словесности нарушил молчание:

— Проклятье! Что ж теперь делать-то...

Никто ему не ответил. Не сговариваясь, медленно побрели прочь от эшафота. Тщедушный Моригеровский плелся сзади, вздыхая, как лошадь, и повторяя свое любимое словцо «Проклятье!».

Он был на редкость унылой личностью. Большой хрящеватый нос его, загнутый книзу, служил предметом особого попечения Моригеровского. То и дело доставая из кармана берестяную тавлинку, словесник заряжал нос табаком, через некоторое время принимался сморкаться, прочищать ноздри платком. Когда говорил, постоянно скашивал глаза на кончик носа. «Проклятье!», относившееся ко всему на свете — от хорошей погоды до задержки гонорара, — звучало как-то дежурно, и все, знавшие Моригеровского, перестали обращать внимание

на этот рефрен. Да мало кто и вообще-то поддерживал с ним отношения.

Только «божьи люди», Якушкин с Максимовым, привечали этого невзрачного человечка.

— Может, зайдем в пивницу? — вяло предложил Якушкин.

Никто спорить не стал. Завернули в первый попавшийся подвал. Не говоря ни слова, разлили водку и выпили. Моригеровский нюхнул рукав и сказал:

— Проклятье!

Максимов насадил на вилку огурец, стал отрешенно жевать.

Якушкин затыкнул:

Все мои леса порублены,  
Все мои братцы на волюшке живут,  
Один я, Ванюшка, в неволюшке,  
В белой каменной тюрьме,  
За немецкими цепями,  
За железными дверьми!

В горле у Максимова встал ком, он сжал руками виски и закрыл глаза, как бы надеясь, что этот день канет в небытие. Но перед взором снова возник черный эшафот. Фигура на коленях. Близорукий прищур из-за стеклышек очков... И вдруг что-то жаркое, тяжелое обволокло его, сердце лихорадочно застучало, отдаваясь в кончиках пальцев. Он увидел каторжную казарму на Каре, наполовину обритые головы узников, истертые в кровь запястья, схваченные обручами кандалов. И голос того несчастного, который пел про Шилку и Нерчинск. Не отнимая ладони от висков, Максимов запел, надсадно, хрипло, как тот изможденный каторжанин.

Когда он умолк и открыл глаза, то увидел, что их стол окружен народом — фабричные, приказчики, крестьяне-

отходники. Максимов готов был поклясться, что некоторые из этих лиц видел там, на Мытной. Вон того завитого, с нафиксатуаренными усами писатель, точно, помнил. И вот теперь все эти простые люди, утирая слезы, слушали каторжную песню, привезенную им из таких мест, про которые говорить и то страшно.

В тот день его заставили спеть все, что он запомнил во время странствий по забайкальским острогам и рудникам. Пел и Якушкин свои орловские песни. Даже Мориговский перестал начинять нос табаком и говорить «Проклятье!». Лицо его покраснелось, он вместе со всем народом, заполнившим трактир, вторил Максиму, хрипло выводящему:

Из Кремля, Кремля, крепка города,  
От дворца, дворца государева,  
Что до самой ли Красной площади  
Пролегала тут широкая дороженька.  
Что по той ли по широкой по дороженьке,  
Как ведут казнить тут добра молодца,  
Добра молодца, большого боярина,  
Что большого боярина — атамана стрелецкого,  
За измену против царского величества...

Тот день на Мытной площади стал для Максимова рубежом, от которого писатель вел счет потерь. Бывали они и прежде: смерть Добролюбова в ноябре 1861 года, осуждение Михайлова месяцем позже, смерть Мея в мае шестьдесят второго. Но те случаи казались исключительными, они виделись как нарушение разумного порядка вещей. 19 мая 1864 года развеяло эту иллюзию.

В том же году, осенью, Павел Якушкин был выслан из столицы под надзор полиции в родное имение Сабурово.

В сентябре после нескольких месяцев отсидки в долговой тюрьме от апоплексического удара умер Аполлон Григорьев.

В августе шестьдесят пятого пришло известие о смерти Михайлова в Кадаинском руднике.

Несколько лет спустя Максимов узнал о том, что старый друг его Иван Колюбакин, игравший на провинциальных сценах, застрелен в уездном городишке Балашове Саратовской губернии пьяным офицером.

А сколько людей было осуждено по «процессу тридцати двух», начатому после ареста Андрея Ничипоренко! Следствие тянулось почти три года, и приговор объявили лишь 27 апреля 1865 года. Самого Максимова, так же как Дмитрия Кожанчикова и Николая Потехина, оправдали, но вот незадачливый революционер Ничипоренко не дождал до окончания следствия, умер в крепости, бедняге Ветошникову и Николаю Серно-Соловьевичу, книгопродавцу, определили пожизненную ссылку в Сибирь...

Впрочем, одно время всем стало казаться, что разбушевавшиеся политические страсти улеглись и цензура как будто успокоилась, меньше стала грозить издателям предостережениями. Писарев, сидевший по-прежнему в крепости, регулярно печатал свои критические работы в «Русском слове». Прошло четыре года со времени его осуждения за написание статьи для нелегальной печати. Поговаривали, что скоро его выпустят.

Выстрел Дмитрия Каракозова прозвучал для всех, как гром с ясного неба. 4 апреля 1866 года стало одним из черных дней России.

Террорист целился в царя, а поразил «Современник» и «Русское слово». Оба журнала были закрыты; Петропавловская крепость пополнилась новыми постояльцами, в их числе Василием Курочкиным, Варфоломеем Зайцевым, Василием Слепцовым, Петром Лавровым.

Председателем следственной комиссии по делу Каракозова был назначен граф Муравьев, прославившийся крутыми мерами по подавлению польского восстания. Узнав об этом, либеральный Петербург затрепетал — ждали чуть ли не массовых казней. Александр II, прибегнувший к столь сильнодействующему «средству», каким был усмиритель Западного края, тем самым показал, что больше не будет поддаваться на увещевания сторонников мягкого курса. И действительно, один за другим лишились своих постов все видные представители партии великого князя Константина Николаевича — Головнин, ставший к тому времени министром народного просвещения, петербургский генерал-губернатор князь Суворов, шеф жандармов князь Долгорукий...

Максимов сидел в своем кабинете над рукописью, испещренной бесчисленными исправлениями. Корзина у стола была доверху заполнена скомканными листами. Работа явно не шла, хотя перед глазами писателя торчала осьмушка бумаги с выведенной красным карандашом датой «20 мая». Срок сдачи рукописи в типографию неумолимо приближался, а очередное сочинение из серии книжек для народа не сдвигалось с мертвой точки.

Еще год назад, весной 1865 года руководители книгоиздательского товарищества «Общественная польза» братья Похитоновы предложили Максиму редактировать издания для народа. С тех пор появилось около десятка брошюр, половину из них написал он сам — «О русской земле», «О русских людях», — в них шла речь о географических и культурных особенностях страны. Со временем ему пришла мысль создать своего рода популярную энциклопедию о племенах, населяющих огромное государство. «Край крещеного света» — такое название дал писатель задуманной серии книжек для народа. Всего их будет че-



тыре: «Мерзлая пустыня, или Повесть о диких народах, кочующих с полуночной стороны России» — сюда войдут рассказы о самоедах, якутах, чукчах, об их шаманах, о способах езды на оленях и собаках; «Дремучие леса, или Рассказ о диких народах, населяющих русские леса» — здесь будет дано описание быта приамурских, сибирских, поволжских и прибалтийских инородцев; «Степи, или Рассказ о народах, кочующих по степям с полуденной стороны России» — собрание очерков о бурятах, калмыках, цыганах; «Русские горы и кавказские горцы» — тут он по свежим впечатлениям своей поездки на Каспий расскажет о пестром муравейнике вер и обычаев, уместившемся бы в пределах одной среднерусской губернии. И еще один замысел есть — сочинить книжицу о крестьянском быте, таком, каким он был прежде и каким быть должен. Но сейчас, в это тревожное время и думать о таком издании не приходится — всех литераторов, прикосновенных к «Современнику» и «Русскому слову», неблагонадежными субъектами почитают. А книги с подобными идеями — чуть не поджигательскими прокламациями.

Оба только что запрещенных журнала не так давно сочувственно отзывались о выпущенном в 1864 году объемистом томе «На Востоке», куда Максимов включил свои амурские впечатления и очерки об увиденных сопредельных странах. Автором рецензии в «Современнике» был двоюродный брат Чернышевского Александр Пыпин, а в «Русском слове» — Варфоломей Зайцев, тот, что сидит сейчас в крепости.

Попробуй написать что-нибудь, когда голова гудит от сообщенных друзьями слухов, от собственных мрачных предчувствий. Только что забрали двадцатичетырехлетнего Ивана Худякова, собирателя народных песен и сказок. Он, кстати, тоже сочинял книжки для крестьян. Его «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте» вызвал

недовольство цензуры — это же агитационная брошюра! Максимову пришлось биться и за его «Рассказы о старинных людях» — в них также усмотрели подвох.

Вскоре после каракозовского покушения Иван примчался в контору «Общественной пользы», бледный, потерянный.

— Ночью с восьмого на девятое началось поголовное хватание! Берут чиновников и офицеров, учителей и учеников, студентов, юнкеров, берут женщин и девочек, нянюшек и мамушек, мировых посредников и мужиков, князей и мещан — берут, берут и берут по такой обширной программе, что никто и нигде не чувствует себя безопасным!

— Да знаем мы, — поморщился Николай Писаревский, один из патронов издательства. — Сами ждем, что со дня на день к нам заявятся.

Позднее узнали: Худяков принадлежал к «Организации», куда входил и Каракозов. Оказалось, что собиратель сказок ездил в Женеву к Огареву, участвовал в подготовке побега Чернышевского с каторги.

Все эти сведения отнюдь не прибавили бодрости приятелям Худякова.

Григорий Елисеев, критик «Современника», признался, что целый месяц после 4 апреля продрожал дома в ожидании обыска и до того извел себя, что решил было идти в Третье отделение и просить о заключении в крепость.

Даже Некрасов, насмерть перепуганный за судьбу своего журнала, примчался в Английский клуб, где чествовали Муравьева, и прочел ему наспех сочиненную оду.

Максимов не принадлежал к числу радикалов, хотя и имел среди них много друзей. Однако происходящее в столице казалось ему возвращением «мрачного семилетия». Неужели мы опять погрузимся в спячку, снова пресса, запуганная цензурой, начисто забудет о многих темах — политика, религия, женский вопрос?..

У известного педагога Василия Ивановича Водовозова писатель бывал довольно часто. В этом доме собирались литераторы демократического лагеря, студенты. Публика, настроенная весьма радикально. В дни каракозовского дела здесь можно было услышать не только предсказания грядущих бед, но и бодрые речи никогда не унывающих нетерпеливцев. Раньше Максимов сторонился таких со-трясателей воздуха, теперь ему почему-то было необходимо услышать их для поднятия духа.

В очередной свой визит к Водовозову он подошел к группе студентов, о чем-то оживленно споривших. Дру-желюбно хлопнув по плечу одного из них, спросил:

— Ну, милый друг, чем вы теперь восторгаетесь, чему поклоняетесь, что предаете анафеме?.. Хорошее времечко мы с вами переживали еще годика два тому назад! Ведь я чуть не вдвое вас старше, а, бывало, душа так и рвется из нутра, так и хочется крикнуть любому полицейскому крючку: «Прочь с дороги с грязными лапами! Знаешь ли ты, семя твое крапивное, что мы празднуем зарю нашего обновления? Что яркое солнышко осветило все уголки нашей родины?» И все мы ходили тогда пьяными не от вина, а от счастья, которое безумно рвалось наружу.

— После возмутительного приговора над Чернышевским, да еще в такое реакционное время, как теперешнее, только идиот может упиваться подобными фразами, — резко проговорил студент.

Максимов чуть не поперхнулся от такого напора. Ему на помощь пришел один из посетителей вечера, педагог из Смольного Дмитрий Семенов:

— Правительство, несомненно, от времени до времени наносит нам серьезные раны. И одной из них был приговор над Чернышевским. Но из-за этого не может же все пойти насмарку, нельзя же не признавать великого значения крестьянской реформы.

— Напрасно вы до сих пор носитесь с крестьянской реформой. Я много путешествовал по матушке России, — возразил Максимов, уже позабывший про нетерпеливцев, — и всюду мог наблюдать одно и то же: положение крестьян после реформы только ухудшилось. Их экономическая зависимость так велика, что не в чем проявиться их личной свободе. Крестьянину приходится так же унижаться, так же раболепствовать перед помещиком, как и во времена крепостничества. Промышленность у нас жалкая, развивается она крайне туго, а земельный надел крестьянина очень часто состоит наполовину из болотистой земли, из песка или суглинка. Чем же ему кормиться, как не заработком у того же помещика либо у местных кулаков, которые, как саранча, набросились теперь на деревню.

— Странно, что до сих пор так ликуют и утешают себя настоящими и будущими реформами, которых ждет та же участь, что и крестьянскую реформу, — вмешался в разговор Николай Курочкин. — Обкорнают, урежут, сократят, объяснят каждую из них так, что все новое совершенно сведут на нет.

— После теперешних событий на другое и рассчитывать не приходится, — мрачно заключил Максимов.

Вспоминая тот вечер, он никак не мог сосредоточиться на работе. Исписанные листы один за другим отправлялись в корзину. Наконец это надоело писателю, он задул лампу и поднялся, чтобы ехать домой.

Когда Максимов вышел на улицу, смеркалось. Он зашагал вдоль мостовой, время от времени оглядываясь, не едет ли свободный извозчик. Неожиданно обогнавшая его карета, запряженная четверней, остановилась, и из окошка высунулось знакомое лицо адъютанта великого князя.

— Сергей Васильевич, это вы? Мы не обознались?

Подойдя ближе, писатель увидел, что внутри экипажа находится и сам Константин Николаевич. Ответив на приветствие, тот предложил:

— Не возражаете, если я вас подвезу? Вы ведь, кажется, на Васильевском острове живете?

Писатель принял приглашение и сел в карету.

— Что говорят ваши, э-э... демократы? — спросил великий князь. — Как они расценивают последние перестановки в правительстве?

— Восторга никто не испытывает, ваше высочество.

Константин Николаевич грустно кивнул и стал смотреть в окно. Максимов мог себе представить, что творится в душе великого князя. Его главный противник, добившийся отозвания Константина Николаевича из Варшавы, теперь чуть ли не диктаторствует в Петербурге. Все люди, выдвигавшиеся братом императора, теперь в опале.

— Что вы наделали! — вдруг воскликнул великий князь, резко повернувшись к писателю. — Вы этого хотели?..

— Я? — удивленно начал Максимов.

— Не вы, конечно, Сергей Васильевич, — несколько смутился Константин Николаевич. — Я говорю «вы», потому что знаю о настроениях того кружка, где вы работаете... Они, эти ваши... ну, не единомышленники, а коллеги... на что они рассчитывают, какой цели добиваются своими безумными речами и действиями? Вы... то есть они, хотите обрушить себе на головы тысячелетнее здание империи, которое хоть и худо, но защищает вас, дает возможность заниматься творчеством, искать истину...

— Но позвольте вам возразить, Константин Николаевич, Чернышевский никаких тысячелетних зданий рушить не призывал.

— А прокламация?

— Ходят стойкие слухи, что она подложная. Чернышевский был достаточно серьезным человеком, чтобы заниматься подобными авантюрами...

— Мы, либералы, словно тонкая стенка, отделяющая левых безумцев от таких же бесноватых справа, — горячо заговорил великий князь, не дослушав Максимова. Ему явно хотелось выговориться. — Если нас свалят, ведь вас во мгновение ока сотрут в порошок такие, как Муравьев... А вы все делаете, чтобы расшатать правительство, своими зажигательными статейками даете аргументы тем, кто хочет затоптать очаг демократического обновления. Русские цари уже вторую сотню лет водворяют в стране просвещение, постепенно приуготавливая народ к свободе, к восприятию высших идей. Но им постоянно приходится отбивать наскоки бунтовщиков и ханжей... Скажите все это своим, Сергей Васильевич, неужели они не желают добра собственной родине, неужели им мало того, что они получили за какие-то пять лет: свободный народ, свободный суд, свободная печать, наконец, хоть вы и станете спорить...

— Ваше высочество, свобода может быть только полной; если она как-то ограничена, то это не свобода. Вот в чем дело, вот из-за чего вся неурядица. Никаких прокламаций не было бы...

— Выходит, по-вашему, надо позволить высказывать и крайние взгляды?

— Разумеется. Только опять-таки не должно быть дано исключительное право на выражение своих мнений лишь одному крайнему направлению. Правые и левые уравновесят друг друга, а представители золотой середины явят обществу наиболее разумные, приемлемые идеи.

— Наивно это, — сказал великий князь. — Я подчеркиваю, что правительство десятилетиями работает над просвещением народа, так как хочу убедить вас: в условиях

вкоренившейся темноты и невежества любой ловкий демагог может толкнуть массу на слепой и жестокий бунт во имя этой мифической свободы, а потом так закрепостить ее, что ей небо с овчинку покажется. Так уже было — пугачевщину вспомните, когда путем откровенного обмана самозванец, объявивший себя Петром III, толкнул тысячи людей на вакханалию убийств. Ваши «доброжелатели» — так они свои подметные листки подписывают — ничем не лучше.

— Так что ж, выходит, это благодеяние правительства, что оно иных общественных деятелей за решетку сажает? — горько усмехнувшись, спросил Максимов.

— Именно так, Сергей Васильевич, изолировав десяток поджигателей, мы спасаем весь город. Убрав с общественной сцены смутьянов, мы охраняем свободу созидательного творчества. Ведь подумайте только, что будет с нашей литературой, если такие, как Писарев, сидящий сейчас в крепости, станут командовать нашей словесностью, а он к этому рвется. Сапоги выше Пушкина! Это же только дикарь мог написать. Да я уверен — будущие поколения благодарить будут государя, что он на таких террористов от критики смирительные рубашки надевал, иначе не видать бы России ни Толстого, ни Тургенева, ни Гончарова...

Так и не смогли они понять друг друга в тот раз. Вспоминая разговор в карете, Максимов склонялся к выводу, что все дело в том, откуда смотреть. Он взирает на происходящее в общественной жизни изнутри кипящего котла, Константин Николаевич созерцает мир из окна Мраморного дворца. Правда, сознавался сам перед собой писатель, моя точка зрения более пристрастна, ибо интересы литературные заслоняют собой все — в них моя жизнь. Для великого князя литература да и внутренняя политика вообще составляют лишь часть забот по управлению государством. Он к тому же не участвует ни в одной

литературной группировке, а это, надо признать, идет на пользу объективности. И все же... все же свободу нельзя отмерять на аптекарских весах, это не лекарственное снадобье — перебрал и помер. Наоборот, чем ее больше, тем общество здоровее.

Через год после каракозовской истории на заседании Русского географического общества заговорили о наметаемой этнографической экспедиции в западные губернии империи. На Украину было решено командировать крупного исследователя П.П. Чубинского, а когда стали обсуждать кандидатуры других участников, одним из первых прозвучало имя Максимова. Председатель общества Константин Николаевич сразу поддержал это предложение, и к писателю обратились с соответствующим письмом. Срок командировки определялся в один год, все расходы РГО принимало на себя.

Ради такой поездки можно пожертвовать ближайшими планами, решил Максимов. В работе была задуманная им книга «Год на юге», отдельные главы из нее уже приняли к опубликованию «Дело» и «Отечественные записки» — наследники запрещенных «Русского слова» и «Современника». Издатели остались те же — первым журналом руководил Благосветлов, второй выходил под редакцией Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

Согласившись отправиться в путешествие по семи губерниям — Псковской, Смоленской, Могилевской, Виленской, Гродненской и Минской, — писатель намеревался как бы замкнуть кольцо своих странствий по Руси. Север он прошел и проехал во время «литературной экспедиции», Урал, Сибирь и Дальний Восток увидел двумя годами позже, южные губернии и Кавказ посетил еще через два года, а Поволжье и черноземный центр исходил вдоль и поперек еще в пятьдесят пятом и пятиде-



сят восьмом. Если теперь он так же досконально изучит Белоруссию и западные окраины России, то будет иметь моральное право обобщить свои наблюдения над бытом народа, говорить не только об особенностях отдельных местностей, но и выносить суждения о национальном характере, о закономерностях его развития. Ведь это-то и интересовало его, когда он отправлялся в первое свое странствие, это-то и казалось более трудной задачей по мере того, как знакомство с русской жизнью постепенно расширялось...

Перед поездкой Максимов условился с издателем крупной ежедневной газеты «Голос» А.А. Краевским, что будет посылать ему корреспонденции о наиболее примечательных сторонах жизни белорусов. Интересовали писателя, как всегда, юридические обычаи народа, свадебные обряды, одежда и песни. Первые статьи за подписью «Проезжий» появились уже в январе 1868 года.

Поразили его бедность крестьян, страшная темнота — ее он объяснял двойным игом: со стороны польской шляхты, веками державшей белорусов на положении быдла, и со стороны местечковых евреев-эксплуататоров, захвативших в свои руки торговлю и ремесло. Шинкари и гешефтмахеры опутали несчастный народ долговой кабалой, из-за которой мужик и хлеба-то досыта не ел. С горькой иронией Максимов писал, что единственный приличный продукт, который можно встретить на столе у жителя Белоруссии, — это сало, да и то лишь потому, что свинья — нечистое животное, по понятиям иудаизма, и оттого «ускользнула от эксплуатации».

Народное самосознание было подавлено до такой степени, что местные жители и назвать-то себя толком не могли, на вопрос о национальной принадлежности озадаченно сдвигали на лоб магерку — суконный колпак — и, почесав затылок, отвечали: «литвин» или «полещук».

В Белоруссии Максимов впервые увидел хлеб, испеченный с примесью древесной коры, лебеды, мякины, ломоть его казался комком грязи, на разломе ощетинывался колючками, как еж. Приезжие из соседних губерний доставали из котомок свои зачерствелые караваи. «Эх вы, бедолаги, сосна вас кормит, липа одевает». И действительно, почти вся Белоруссия ходила в лаптях, а в лесах придорожных белели ободранные стволы — сосновая заболонь, мягкий подкорный слой еще не затвердевшей древесины, служила постоянным подспорьем голодающим.

Приметно было равнодушие к вопросам веры — сравнительно с коренными русскими краями. Оттого языческие пережитки уцелели в Белоруссии в наиболее яркой форме. Для этнографа это обстоятельство было самым притягательным и сыграло не последнюю роль в его согласии участвовать в экспедиции. Он помнил свою поездку по Орловщине, где дохристианские верования хорошо сохранились из-за того, что долгие века там соперничали разные религии. Впечатления, полученные в западных губерниях, помогали развить многие наблюдения, сделанные в 1858 году, прийти к обобщениям, касающимся духовного мира древних славян. Занося в свою записную тетрадь услышанные поверья, описывая обычаи, писатель отдавал себе отчет, что это пока лишь «сырье» для осмысления, выводы будут сделаны гораздо позднее, возможно, он вернется к этим страницам спустя десятилетия.

Присматриваясь к нравам нового для себя края, Максимов как бы вел отбор материала для давно задуманных книг. Еще в дни пеших странствий с Якушкиным он решил написать о хлебе — как его сеют, убирают, как им торгуют. Парадоксально, но в великом хлебном царстве не нашлось литератора, который занялся бы этим вопросом! Разговоров о народе, о его нелегкой доле предостаточно, а о главном предмете, из-за которого мужик бьется, как-то

не задумывались. А ведь хлеб — это не только основное средство пропитания, это и средоточие духовной жизни! Сколько вокруг него обрядов, сколько поэзии!

В Белоруссии писатель увидел много интересных явлений, которые прямо-таки просились на страницы другой книги, давно им задуманной, — «Бродячая Русь Христа ради». Странная разновидность бродяг обосновалась в городке Мстиславле Могилевской губернии — в народе их прозвали кубраками. Пытаясь дать точное определение этой разновидности мошенников, Максимов записал: «Кубраки — промысловые люди, характерные разве тем только, что народились в стране, где дремлют все промысловые силы и давно убито в коренном населении всякое ремесло... Кубрачество — промысел самого грубого дела, самым обыкновенным образом основанный на коммерческих расчетах и обставленный однородными же беззастенчивыми приемами».

Странствуя по Руси, богомольной и щедрой на даяния, кубраки собирали средства «на построение храма». Большая часть этих пожертвований оседала у них в карманах, кое-что сдавалось в консисторию, которая выдавала сборщикам прошнурованные книги с печатью для записи имен жертвователей и внесенных ими сумм. Но неграмотному люду и невдомек было, что надо что-то отмечать в толстом фолианте, торчавшем из кубрацкой сумки. Вот эти-то, на честное слово данные крестьянские копейки и обеспечивали вольготную жизнь «промысловых людей».

Такую же статью дохода освоили в Гродненской губернии, только тамошних сборщиков «на божий дом» именовали лаборями. И эти ходили за тысячи верст просить подаяние...

Мошенник везде остается верен себе, где бы он ни жил, чем бы ни промышлял. Как офени и конские барышники выдумали тайные языки, так и кубраки прибегали к

тарабарщине, позволявшей скрывать их намерения от окружающих. Как ни старался писатель дознаться до премудростей этой речи, ничего у него не вышло — крепко стерегли плуты свои тайны...

Слишком мало времени оказалось у путешественника, чтобы глубоко вникнуть в быт Западного края. Он рассчитывал проездить год, но дела сложились так, что по истечении трех месяцев он вернулся в Петербург и поступил на службу. Уж очень выгодные условия были предложены ему, чтобы отказываться. Семья прибавлялась, а литературные заработки могли прокормить с большим трудом. На новом месте писателю был обеспечен генеральский оклад. Да и работа была знакомая — редактировать газету. Правда, название печатного органа поначалу сильно смущало его — «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и городской полиции»...

Впрочем, устрашающая «шапка» этого ежедневного издания мало соответствовала его содержанию. Четыре полосы газеты заполнялись официальными распоряжениями, объявлениями о происшествиях, торговой рекламой.

По сути дела, «Ведомости» представляли собой городской справочный листок. Никакой идейной тенденции он не проводил, политики не касался. Это обстоятельство и определило решение Максимова принять на себя редактирование. Тем более что приглашение на службу поступило от его старого знакомого, Сергея Филипповича Христиановича, управляющего канцелярией петербургского градоначальника генерала Ф.Ф. Трепова.

Христиановича уважали как просвещенного и вполне либерального деятеля. Его брат, Николай Филиппович, известный орловский судебный деятель, был крупным композитором и музыкальным критиком, славился как

талантливый исполнитель и интерпретатор Шопена. На одном из его концертов в редакции «Отечественных записок» Максимов и познакомился с Сергеем Филипповичем.

Друзья, узнав о намерении писателя пойти на службу в «Ведомости», против ожидания не стали его отговаривать. Кто-то из них выразился в том смысле, что безупречная репутация Максимова ни в коей мере не пострадает от того, что его фамилия будет соседствовать с наименованием полицейского органа. В конце концов, человек красит место, сказал себе Максимов. 2 марта 1868 года газета впервые была подписана: «И. д. редактора С.В. Максимов». То есть — исправляющий дела. До утверждения его в должности с присвоением чина должно было пройти какое-то время, на деле же волокита затянулась на несколько лет.

Начались унылые будни. Ежедневно к десяти часам Максимов являлся в контору издания на углу Большой Садовой и Большой Итальянской, чтобы вычитывать обширные полосы объявлений и «Дневник происшествий», пестревший заголовками: «Укушение собаками», «Неосторожная езда», «Тяжкий ушиб», «Обжоги», «Раздавленный вагоном», «Укушение кошкою», «Вывих плеча», «Укушение лошадью». Штат редакции был мизерный, и писателю приходилось нелегко. А вскоре в одном из своих писем Д.И. Завалишину, который перебрался-таки из Сибири и жил в Москве, Максимов пожаловался: «К этой моей редакции присоединилась нежданная и негаданная вторая, по изданию Вестника Общества попечения о раненых и больных воинах, от которой, несмотря на незначительное вознаграждение и на кучу дел, я не имел права и не был в силах отказаться... Редакция Вестника попечения о раненых и больных пристигла меня врасплох. Между прочим, эти хлопоты по новому и лишнему делу заполнили и тот

скудный досуг, который кое-как выбивался для меня среди беготни за статистическими и иными полицейскими сведениями и сидений до 3 часов ночи в типографии. Тут и там я один без помощников и сотрудников». Друзьям Максимов говорил: «Я до пяти часов ночи сижу в типографии, все пишу сам, и каждая статья стоит нескольких фунтов крови».

Помимо тягот редакционной рутины, отравляло жизнь и то, что газета рассматривалась полицейским начальством как собственная вотчина в нарушение условий аренды — истинным хозяином «Ведомостей» были городские власти. Максиму приходилось выслушивать разносы за публикацию статей, «не относящихся к делу», таких, как «Народная иконопись». Дошло до того, что вызвали к Трепову и показали отношение, полученное от Совета главного управления по делам печати, в котором говорилось: «В “Ведомостях” в течение последнего времени стали постоянно помещаться такого рода статьи, которые никоим образом, не только по форме, но и по существу не могут быть подведены под вышеуказанные отделы программы и при этом не совместны со значением и достоинством официального органа местного градоначальства».

Даже заступничество Христиановича не всегда спасало Максимова от крутых мер начальства по «наставлению» заблудшего редактора. Несколько раз писателю приходилось сидеть на гауптвахте за какую-нибудь оплошность в тексте объявления.

В таких случаях друзья не давали Максиму впасть в уныние — они являлись к нему, привозя с собой корзины с провизией. Среди узников-волонтеров обычно бывали Иван Горбунов, ставший к этому времени кумом писателя, Дмитрий Кожанчиков, историк Николай Костомаров, писатель Владимир Михневич, знаток старого Петербурга...

Сидя в помещении гауптвахты, они сетовали на тяжелые нравы, царящие в журналистике. Виданное ли дело: держать под стражей редактора за то, что пьяный наборщик перепутал несколько литер! «Дик, дик еще наш так называемый культурный слой», — сокрушался Кожанчиков. Даже писатели и те не могут без грубости, без скандалов. Василий Курочкин с приятелями ворвались к Благодетелю в кабинет и отдули его кулаками и тростями за какую-то публикацию, враждебную «Искре». С тех пор издатель «Дела» поставил у своих дверей двух огромных арапов с пудовыми кулачищами — они хватают и спускают с лестницы не в меру агрессивных посетителей.

Максимов сам наблюдал эти нравы благодетельского окружения. Что поделаешь, почти все сотрудники его изданий вышли из духовных семинарий, от порядков бурсы не так-то просто отвыкнуть. Моригеровский, поступивший в «Дело», когда там печатались очерки Максимова о кавказских сектантах, жаловался приятелю на неделикатность отношения со стороны как авторов, так и руководителя журнала.

— Проклятье! Не знаешь, от кого плюху получишь. Врываются, аки львы рыкающие, за горло хватают: где гонорар?! Я говорю: «К Григорию Евлампиевичу идите». А меня еще пуще трясут, кутейники этакие. Он, кричат, в собственной карете разъезжает, а у нас сапог на выход нету! Так я-то чем виноват?..

Благодетель действительно любил шиковать. Это было предметом постоянных нападок на него со стороны единомышленников и противников. Желчный поэт Дмитрий Минаев, сыпавший в «Искре» остроумными эпиграммами, честил редактора «Дела»:

Когда статьи о бедном брате  
Ты сочиняешь, полный мук,

Прошу тебя, взгляни ты кстати  
На бриллианты пухлых рук,  
И, может быть, тебя алмазы  
Заставят вздрогнуть хоть слегка:  
Ведь бриллиантовые фразы  
Легко гранить в честь бедняка.  
Притом введешь ли нас в обман ты?  
С тебя личина уж снята:  
На жирных пальцах бриллианты,  
А в деле мысли — нищета.

Максимов не считал, что подобные приемы могут принести какую-то пользу. Что с того, что у Благосветлова водятся деньжонки? Главное то, что печатает его журнал. Чернышевский тоже имел десять тысяч годового дохода, собственный выезд и дачу в аристократическом Павловске. А многие издатели правых газет ходят с продранными локтями. Ясно, что большие барыши приносят те печатные органы, которые в оппозиции правительству. Подписчики предпочитают их, а не издания с «положительной программой» вроде аксаковской «Москвы» или «Эпохи» Достоевского.

Стороной доходило до Максимова, что кое-кто из его недавних приятелей и про него говорит с плохо скрытой завистью: сел на генеральское жалованье, а сам крестьянскую нищету со слезой живописует. Да еще слухи распространяли, что он ничего не делает по газете, а всю работу взвалил на корректора, пользуясь своими хорошими отношениями с Христиановичем.

Больно было писателю узнавать об этом. Вся его деятельность, подчиненная одной цели — изучению народа, его просвещению, — говорила об истинной позиции Максимова. Название издательства «Общественная польза», где он работал прежде, как нельзя лучше характеризовало



его гражданский идеал: слово должно служить развитию нации.

Впрочем, голоса тех немногих, кто заподозрил писателя в «измене», вскоре умолкли. Именно с 1868 года начинается полоса его триумфов. Новый большой журнал либерального направления, «Вестник Европы» напечатал отрывки из переработанной Максимовым книги о каторге под общим наименованием «Несчастные».

Некрасов и Салтыков-Щедрин обратились к писателю с предложением поместить его книгу в «Отечественных записках». И весь 1869 год она печаталась в органе, представлявшем левый фланг общественного движения.

Когда через два года «Сибирь и каторга» (такое название дал Максимов своему изрядно переделанному сочинению) вышла тремя томами, ее уже ждали. Успех был гигантский, большой тираж разошелся за несколько недель. Чрезвычайная популярность писателя в демократических кругах выразилась и в том, что книгопродавцы немедленно заключили с ним договора на переиздание других его произведений. В том же 1871 году снова вышли «Год на Севере», «На Востоке». Максимов подготовил к печати два тома своих очерков, написанных в начале его творческого пути, и издал их под названием «Лесная глушь». Сюда были включены зарисовки быта Костромской губернии, Поволжья, так называемые физиологии, посвященные представителям разных ремесел и промыслов.

Прочитав «Лесную глушь», Салтыков-Щедрин откликнулся на нее большой рецензией, в которой говорилось: «Г-н Максимов принадлежит к числу лучших наших этнографов-беллетристов, и изданное им ныне новое собрание очерков и рассказов служит несомненным тому доказательством. Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальной и духовною обстановкою. В этом смысле

рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности».

Так случилось, что отзыв на книгу Максимова стал последней рецензией Салтыкова-Щедрина в «Отечественных записках» — в дальнейшем сатирик высказывался по эстетическим и литературным вопросам в своих художественных произведениях. Говоря о «Лесной глуши», он сформулировал общие проблемы литературного развития эпохи, поставил вопрос об отношении беллетристики к современной русской жизни. Считая, что классический психологический роман исчерпал себя как по тематике, так и по характеру осмысления действительности, рецензент полагал, что гораздо нужнее обществу произведения, прямо обращающиеся к социальным явлениям. Салтыков-Щедрин видел в сочинениях писателей, подобных Максиму, предвестие нового «общественного романа».

Рекомендация соредактора «Отечественных записок», касавшаяся возможной судьбы книги «Лесная глушь» да и других произведений Максимова, была адресована молодому читателю демократического направления. «Должна быть настольною книгой» — это значило больше, чем желание похвалить близкого журналу автора. Как раз в это время в радикальных кругах шло обсуждение главного вопроса, стоявшего перед народническим движением: как поднять мужика на низвержение существующего строя? Зрело убеждение, что интеллигент должен идти в деревню, вносить в сознание крестьянина — стихийного революционера — идею «черного передела» земли, оставшейся за помещиками после реформы 1861 года. Но большинство пылких молодых людей совершенно не знали того народа, который хотели освободить. И книги Максимова, главы школы ходебщиков, стали для них своего рода учебниками, с помощью их рассчитывали найти ключ к мужицкой душе.

В 1873 году, непосредственно перед знаменитым «хождением в народ» — массовым «десантом» пропагандистов-народников в сельские местности, появилась книга Максимова «Куль хлеба и его похождения». На титульном листе ее стояло посвящение: «Моим милым детям Ване и Саше посвящаю эти мои вечерние рассказы в богатом городе о бедной деревне». И новому изданию сопутствовал огромный успех. Часть тиража попала в котомки студентов, которые весной 1874 года тысячами отправлялись в ближние и дальние губернии поднимать волну народного гнева.

«Куль хлеба...» рассказывал о быте и мировоззрении крестьянина от первого дня его появления на свет до самой смерти, в книге давалось подробное описание земледельческих орудий, знаков, устройства жилищ и хозяйственных построек, описывалось социальное устройство общины. Для людей, впервые попадавших на рандеву с мужиком, это был сущий клад. Не прошло и двух лет, как потребовалось переиздание «Куля...».

Сам Максимов был не ниспровергателем, а просветителем<sup>1</sup>. Именно поэтому на протяжении многих лет писатель

---

<sup>1</sup> Просветительство 1860-х годов решало задачи общедемократического характера и во многих отношениях было последовательнее, чем революционное народничество 1870—1880-х годов. В.И. Ленин неоднократно подчеркивал это обстоятельство в своей полемике против эпигонов народничества, абсолютизовавших общину и «революционные инстинкты» мужика. В работе «От какого наследия мы отказываемся?», специально посвященной вопросу об идейной преемственности различных этапов освободительного движения, Ленин дал определение российского демократа-просветителя эпохи реформ 1860-х годов: он «...одушевлен горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта “просветителя”». Вторая характерная черта, общая всем русским просветите-

выступал с лекциями на народных чтениях в Соляном городке, не оставлял и работы над книжками для народа. В одном 1872 году вышло три сочинения в этом роде: «Как и чему учил Петр Великий народ свой», «Святые места русской земли», «Троице-Сергиевская лавра»...

«Хождение в народ» тем временем начало приносить первые плоды, однако совсем не те, на которые рассчитывали нетерпеливцы. Из разных мест потянулись в столицу подводы с арестованными пропагандистами. Их сдавали полиции сами крестьяне. В демократических гостиных с оторопью слушали рассказы тех, кому удалось подобру-поздорову убраться из сельских местностей, откуда должна была хлынуть волна народного гнева. В лучшем случае визитеров в рваных сапогах и красных рубахах принимали за воров, в иных диких углах колдунами числили — больно непонятно говорили они да и сами часто местного говора не разумели. «Природный социалист» существовал только в воображении народников, на деле он оказался подозрительным и жестоким.

Максимов слышал, как жаловался один из молодых бунтарей, едва унесший ноги из Костромской губернии (не «Лесной глуши» начитался ли?), где пытался распространить артель кологривских плотников, в которую он поступил:

---

лям, — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта “просветителя” это — отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние и искреннее желание содействовать этому» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 519). Деятельность Максимова — литератора и общественного деятеля — во многом отвечает этому определению.

— Я начинал с расспросов об их деревне, нужде, о том, как у них себя ведет начальство, и затем уже переходил к своим заключениям и обобщениям. Но тут я наткнулся всякий раз почти на одно и то же возражение: соглашавшийся с моими послылками кологривец делал из них свой вывод или подводил свой итог, а именно — утверждал, что сами они, деревенские, во всем виноваты... По этому воззрению, им приходится терпеть нужду, обиды и скверное обращение, собственно, потому, что они сами поголовно пьяницы и забыли Бога. Я подыскивал аргументы, чтобы доказать им, что следствие в данном случае принимается за причину, или пытался ослабить в них этот пессимизм как-нибудь иначе... Но остается факт, что я никак не мог сбить моих собеседников с их позиции.

Максимов только горестно качал головой. Кто-кто, а он-то наперед знал, к чему приведет эксперимент юных мечтателей. Но, когда накануне «хождения в народ» он пытался заговаривать об этом, его просто отказывались понимать. Теперь же напоминать о своих сомнениях было неуместно. Масса участников движения сидели за решеткой в ожидании суда.

Разочарование мужиком еще не наступило, было только безграничное удивление от того, что он не «сдвинулся» после нескольких бесед. В него продолжали верить как в единственную революционную силу, ибо иных попросту не видели. Учителя молодежи, такие, как Ткачев и Лавров, полагали, что пролетариат — явление, сопутствующее вырождению цивилизации. Говоря о Европе, автор «Исторических писем» указывал на «язву вырождающегося или волнующегося пролетариата», а последователи лавровских идей уповали на то, что России удастся обойтись без социальных недугов западного общества.

В русской действительности начала 1870-х годов и в самом деле не было таких «язв». Но жажда революции

вынуждала бунтарей искать горючий материал. Тем более что себя они давно ощущали готовыми для переворота. Лавров оказался пророком этой сравнительно небольшой, но сплоченной, одержимой части образованного общества. Он дал ей религию, дал простые и ясные лозунги. «Член небольшой группы меньшинства, видящий свое наслаждение в собственном развитии, в отыскании истины и в воплощении справедливости, сказал бы себе: каждое удобство жизни, которым я пользуюсь, каждая мысль, которую я имею досуг приобрести или выработать, куплена кровью, страданиями или трудом миллионов. Прошедшее я исправить не могу, и, как ни дорого оплачено мое развитие, я от него отказаться не могу: оно именно и составляет идеал, возбуждающий меня к деятельности. Лишь бессильный и неразвитой человек падает под ответственностью, на нем лежащей, и бежит от зла в Фиваиду или в могилу. Это надо исправить, насколько можно, а это можно сделать лишь в жизни. Зло надо зажить. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем».

Учение о долге интеллигенции перед народом и было идейной основой знаменитого «хождения». Нравственно цельные натуры молодых искателей правды устремились в деревню, чтобы нести туда знания, добытые интеллигентом в городе, но оплаченные трудом мужика...

Еще в дни своих странствий по югу России, по кавказским поселениям сектантов Максимов продумал весь круг вопросов, связанных с общиной и отношением к ней со стороны радикально настроенных литературных деятелей. Уже тогда, десять лет назад, он понял, что нелепо связывать с ней надежды на революционное переустройство. Если бы к его взглядам прислушались, возможно, сегодня вред от необдуманных поступков был бы гораздо меньше.

Теперь-то и среди народников появились люди, понявшие природу общины. На вечере в редакции «Отечественных записок» приехавший из своего смоленского имения Александр Энгельгардт с горечью рассказывал:

— Отец с сыном, брат с братом при рытье канавы делят ее на участки, и каждый отдельно гонит свой участок. Даже родные сестры, не говоря уже о женах родных братьев, мнут лен в раздел, каждая на себя, и не согласятся класть лен в одну кучу и вешать вместе, а заработную плату делить пополам, потому что сила и ловкость не равная, да и стараться так не будут и, работая вместе, наминать будут менее, чем работая каждая порознь. Только мать с дочерью иногда вешают вместе, но и это лишь тогда, когда мать работает на дочь и все деньги идут дочери. Что уж говорить про деревенский мир в целом...

И это Максимов слышал из уст человека, участвовавшего в «Земле и воле», сидевшего в Петропавловке, а потом, после высылки на Смоленщину под надзор полиции, создавшего у себя в имении школу для «интеллигентных землевладельцев».

Впрочем, бесперспективность пропаганды понял не один Энгельгардт. Многие участники движения в глубине души осознали это. Но сделали совсем иные выводы: коли мужик — монархист, используем его царистские убеждения. Под Чигирином на Украине группа «бунтарей» распространила подложный манифест, призывавший мужиков вооружаться на защиту царя и земельного передела. Удалось даже сколотить несколько крестьянских дружин и добыть тридцать старых револьверов. Кончилось дело арестом нескольких сот селян и разоблачением «царских комиссаров».

Заводил «Чигиринского дела» вдохновил пример из истории Французской революции, приведенный Ипполитом Тэном в «Происхождении современной Франции».

В 1789 году крестьяне глухих углов шли громить замки своих сеньоров «по королевскому указу» под предводительством неких «принцев» в голубых лентах. Откуда было знать российским нетерпеливцам, что эти подстрекатели высылались во французскую провинцию масонскими ложами, что за ними стояла огромная мощь тайного ордена, свалившего Бурбонов...

Полицией были арестованы свыше четырех тысяч человек, прикосновенных к «хождению в народ». Несколько лет велось следствие, и наконец в октябре 1877 года начался крупнейший в истории России суд над «политическими» — его окрестили как «процесс 193-х»<sup>1</sup>. Он проводился в условиях гласности и «соревновательности» обвинения и

---

<sup>1</sup> Политические процессы 1870-х годов вызвали резкое размежевание в обществе. Даже многие сторонники правительственного курса осуждали карательную политику самодержавия. Революционная молодежь с восторгом принимала выступления подсудимых на судебных заседаниях. Речь Ипполита Мышкина на «процессе 193-х» стала своего рода идейной программой молодого поколения. Выражая свое сочувствие к подсудимым, многие писатели, художники и журналисты в иносказательной форме осуждали судебные преследования участников «хождения в народ» — к сочувствию к гонимым «первохристианам», просто заключенным без указания их вины взывали поэмы, живописные полотна и корреспонденции о неких невинных жертвах. Н.А. Некрасов писал в дни «процесса 193-х»:

Схоронив, мы камень обтесали,  
Утвердили прямо на гробу  
И на камне четко написали  
Жизнь, и смерть, и всю твою судьбу.

И твои останки людям милы,  
И укор, и поученье в них...  
Нужны нам великие могилы,  
Если нет величия в живых...



защиты. Хотя большинство подсудимых отделались легко (90 оправданы, многим засчитан срок предварительного заключения, и только 28 приговорены к каторге), на Максимова, посетившего ряд судебных заседаний, процесс произвел тяжелое впечатление. Это были суд и приговор над иллюзиями его собственной молодости...

Новая книга писателя «Бродячая Русь Христа ради», вышедшая в 1877 году, была начисто лишена всякого любования простонародной жизнью. Очерки быта всевозможных мошенников, слонявшихся по градам и весям православного царства под видом погорельцев, богомольцев и собирателей средств «на церковное строение», не оставляли места умилению и сочувствию. Возможно, именно это определило явный неуспех книги — читатель плохо раскупал сочинение, не потрафлявшее его излюбленным грезам о мудрости и благолепии народной жизни.

Среди собратьев по перу многие также с холодком отнеслись к «Бродячей Руси». Тем больше порадовал Максимова отзыв Писемского, приехавшего по делам в Петербург из Москвы. Алексей Феофилактович перебрался туда на жительство после того, как нажил себе смертельных врагов во всей радикально-либеральной прессе невиской столицы.

Войдя в квартиру Максимова, Писемский, шумно отдуваясь, долго разматывал длинейший шарф, повязанный поверх воротника енотовой шубы, потом сбросил на руки горничной тяжелое одеяние, снял вязаную душегрейку и направился в кабинет.

Сел в кресло и сказал:

— Пока в поезде ехал, книжку твою, Сергей, с великим удовольствием читал. Эх, какой мирок ты разных гадин вывел... Впрочем, надо сказать правду, и другие, более высшие прослойки нашего общества не лучше.

— Это почему же, Алексей Феофилактович?

— А вот уж не ведаю. Знать, Бог нас за грехи наказует... Сам посуди, ежели в литературном мире такие нравы, то что про мужичье толковать...

Максимов понял, что у Писемского опять какие-то нелады с публикацией его сочинений — чуть не каждое новое произведение писателя с трудом проходило цензуру. А в довершение ко всему его потом в либеральной и левой прессе начинали чехвостить. Зная все это, Максимов неизменно выказывал дружеское участие к бедам Алексея Феофилактовича. Вот и на этот раз, стоило ему посочувствовать, гость разохался:

— Опять пьесу забодали, окаянные... Это, понимаешь, свинство. Это все равно, ежели обухом по лбу... С такими людьми, по-моему, и разговаривать нечего — проходи мимо... Пишешь, стараешься, душу измочаливаешь, и за все про все — придирки...

Литературные и житейские неурядицы, преследовавшие писателя, тяжело отразились на его здоровье. Писемский передвигался тяжело, его мучила одышка, весь вид его говорил, что он сбился с пути и не может обрести верной дороги во враждебном к нему мире. На портрете, который писал с него Перов, это состояние внутреннего надлома было изображено с огромной силой.

Но Писемский не хотел признавать своего поражения в жизненной и литературной борьбе. Недаром и портрет Перова вызывал у него возмущение:

— Ну одолжил! Чтоб ему ни дна, ни покрывки! Знай я об его отношении, не согласился бы позировать.

— Почему же? — спрашивали знакомые. — Разве не хорош портрет?

— Гм... Не знаю. Говорят, хорош. По работе, может, и в самом деле неплох, а по-моему, скверно.

— В чем же скверно? Что именно?

— А вот то именно, что на портрете не я. Парень я — все говорят — неглупый, а он свинью нарисовал!

Тягостное впечатление осталось у Максимова после той встречи с Писемским. Большой и самобытный писатель все больше осознавал, что остался где-то на обочине общественной жизни, что непонимание его новых книг и пьес со стороны критики означает одно: идеалы, которые он отстаивал, чужды новому поколению. Он почитал себя человеком сороковых годов, когда, как считал он, больше стремились к идеальным ценностям и не были столь сильно поработаны интересами материальными. Нынешнее торжество идеи Пользы, рационалистического мировоззрения он усматривал как в усилении духа приобретаательства, так и в развитии течений мысли, объявлявших результаты новейших естественно-научных исследований чем-то вроде евангелия.

Да и не один Писемский сознавал трагический конфликт со временем. Герцен незадолго перед смертью с глубоким пессимизмом предсказал победу всемирного мещанства и измельчание культуры. Эти идеи были настолько близки Алексею Феофилактовичу, что многие высказывания издателя «Колокола» он вложил в уста положительного героя своего романа «Мещане». Даже название новой книги прямо намекало на идейную связь с Герценом.

Разочарование в своей эпохе испытывали и люди, совсем недавно верившие в возможность крутых перемен. Участники радикальных движений, высланные из Петербурга в первой половине 60-х годов, возвращаясь спустя десятилетие в столицу, говорили, что вместо города студенческих протестов и острой идейной борьбы Петербург превратился в город кафешантанов, железнодорожных дельцов и биржевых маклеров.

Большинство активистов молодежных кружков, повзрослев, сделались исправными служащими. Кое-кто

даже перешел в консервативный лагерь. А меньшинство, разочарованное в идеалах «хождения в народ», стали на путь заговоров и террора. Близкий знакомый Максимова, Иван Прыжов, напечатавший ряд очерков о нищих и кабаках на Руси, оказался одним из ближайших соратников Нечаева — авантюриста от революции, не брезговавшего убийством и доношением «для пользы дела». Другие бывшие собраты по перу оказались в эмиграции — Лавров, Зайцев, Ткачев. Третьи из числа «шестидесятников» ушли из жизни: Василий Курочкин вскоре после того, как закрыли «Искру», Левитов — исчахший от алкоголя и туберкулеза.

Как-то Максимов зашел в редакцию газеты «Новости», издававшейся оборотистым журналистом О.К. Нотовичем. Огромное палаццо, некогда возведенное для себя строителем Исаакиевского собора Монферраном, напомнило писателю о первых его шагах в литературе. Тогда в этом роскошном дворце обитал редактор «Библиотеки для чтения» Старчевский. Журнал процветал, и это позволяло Адальберту Викентьевичу жить по-царски — обедал он не иначе, как на северском фарфоре Людовика XV и спал на кровати Марии Антуанетты, невесть каким путем попавшей к петербургскому антиквару.

В плохо освещенной анфиладе Максимов нос к носу столкнулся с подслеповатым старичком в поношенном сюртуке. И, узнав его, вздрогнул от удивления — надо же случиться такому совпадению. Перед ним стоял сам Старчевский!

— Адальберт Викентьевич! Какими судьбами? Сто лет вас не видел. И вот стоило вспомнить вас...

— А, Сережа... — Старчевский наконец признал его. — Рад тебя встретить... Вспоминал, говоришь? Немудрено...

Старик обвел глазами ветхие шпалеры, лепнину под потолком, уныло вздохнул. Максимов подумал: не знай он

прошлого этого человека, никогда бы не поверил, что сия жалкая личность с лысым черепом и седыми боцманскими бакенбардами когда-то решала судьбы многих писателей, ставших гордостью современной литературы.

Словно прочитав мысли Максимова, Старчевский обреченно проговорил:

— *Sic transit gloria mundi*. Или, как сказал Саиб Тебризи: помолол пшеницу — покинь мельницу.

Зная десятки европейских, восточных, древних языков, он к любому житейскому случаю имел наготове дюжину сентенций из старых и новых классиков.

— Ну почему? — Максимов поспешил ободрить Адальберта Викентьевича. — Вас уважают и любят...

Но Старчевский не дал ему договорить. Деревянным голосом произнес:

— Я служу... ночным редактором в «Новостях»... Если б кто-нибудь посмел мне такое предречь четверть века назад!..

Он повернулся и зашаркал ногами в полутьме коридора...

Размышляя о происходившем у него на глазах распаде поколения «шестидесятников», Максимов задумывался о причинах того, почему многие оказались в изоляции от общества, продолжали поклоняться давно потускневшим идолам. Тем временем страна шла своим путем: строила железные дороги и заводы, шахты и нефтепроводы, высылала военные экспедиции в пески Средней Азии, закладывала броненосцы... Россия вставала на путь промышленного развития.

Участие русских добровольцев в борьбе сербов против Османской империи и последовавшая затем русско-турецкая война 1877—1878 годов, как казалось Максиму, надолго потеснили в сознании общественности вопросы социального переустройства. Многие участники «хожде-

ния в народ» с воодушевлением отправлялись в Сербию, вместе с многотысячными толпами пели «Спаси, Господи, люди твоя» во время проводов добровольцев на вокзалах Петербурга и Москвы.

Героями дня стали Иван Аксаков и другие славянофильские публицисты, поднявшие в русском обществе волну сочувствия единоверным болгарам, сербам и македонцам. Самым ходовым товаром у книгопродавцев сделались фотографические портреты генералов Черняева, Скобелева, Гурко.

Но дальнейшие события показали, что война не отодвинула «на потом» вопросы демократизации русской жизни. Народники, отправлявшиеся на театр войны, как говорили тогда, считали задачу освобождения славян продолжением своей миссии внутри страны. Помогать угнетенным везде, где это необходимо, где для этого представляется возможность, — таков был принцип русской интеллигенции. Так что совпадение ее устремлений с «видами» правительства было чисто внешним. Вернувшись с полей Болгарии, многие участники освободительного похода продолжили революционную деятельность...

Брат Максимова уехал на фронт военным корреспондентом, статьи в петербургских газетах о действиях русских войск и болгарских ополченцев принесли ему широкую известность. Писатель с гордостью показывал эти корреспонденции друзьям.

— Николай прославит нашу фамилию, пожалуй, больше, чем я. Газеты читают все, кто с грехом пополам научился слова складывать, а мои сочинения, в основном, образованный класс знает.

На это ему нередко отвечали в том смысле, что «Год на Севере», «Сибирь и каторга» принадлежат к высоким образцам русской словесности, а потому еще много десятилетий будут служить общественной пользе.

## ЗАКАТ

**В** мае 1901 года скорый поезд мчал Максимова из Варшавы в Петербург. За окном вагона первого класса мелькала пестрядь общинных полей. Там и сям виднелись фигурки лошадей и пахарей. Десятки грачей вприпрыжку следовали за плугами, деловито ударяя клювами направо-налево.

Бледная зелень, едва опушившая березовые колки и придорожные кусты, вызывала ощущение хрупкости, зыбкости просыпающейся жизни. Дрожащее марево над пашнями смазывало очертания дальних предметов, как бы растворяя границы видимого мира и свидетельствуя о его уязвимости. Это состояние внутренней неустойчивости передалось и Максиму — он ощущал, что его собственное бытие неразрывно связано с духом природы.

Чахотка, бич русской интеллигенции, особенно петербуржцев, уже много лет терзала писателя. Еще задолго до выхода в отставку в 1897 году он жаловался друзьям на «коховских саперов», которые вели разрушительную работу в его легких. Только поездки в родной Парфентьев, жизнь в родительском доме, пешие прогулки по окрестным сосновым борам помогали на какое-то время приостановить болезнь.

Когда правительство назначило Максимова пенсию за его литературные заслуги, он смог отрешиться от постоянных забот о заработке и больше внимания уделять здоровью. К тому же как раз в это время он стал обладателем небольшого имения в Кологривском уезде, доставшегося ему по наследству от дальнего родственника Ивана Черепова, знаменитого когда-то на всю Костромскую губернию силача, кутилы и собачника. Теперь, приезжая на родину, писатель подолгу жил или в этой усадьбе, или в Парфентьеве, окруженном сосновыми лесами.

Василий Васильевич Максимов, профессор хирургии в Варшавском университете, следивший за здоровьем старшего брата, направлял его к видным врачам, давал рекомендации относительно курса лечения. Настоял на поездке писателя в Крым.

Несколько недель, проведенных на южном берегу, в Алуште и Ялте, настолько укрепили силы Сергея Васильевича, что он решил: болезнь отступает. Об этом он говорил, гостя у Антона Павловича Чехова, решившего поселиться в Крыму.

Сидя в плетеных креслах на террасе домика и не сводя глаз с ультрамариновой глади моря, оба писателя говорили о своих начатых книгах, о будущем, об общих знакомых. Правда, постепенно разговор приобрел траурные тона.

Когда Максимов рассказывал о недавнем прошлом, он то и дело присовокуплял к именам упоминаемых общественных деятелей и литераторов «покойный».

Островский, Аксаков, Чернышевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Минаев... Всех их уже не было в живых. Одних Чехов еще успел застать, даже подружиться с ними, других полюбил по их книгам, по рассказам людей старшего поколения. Он высоко ценил прозу Писемского, Лескова, и ему было бесконечно интересно узнавать подробности их жизни от человека, близко знакомого с



обоими многие годы. Когда Максимов посетовал на то, что новое поколение читателей начинает забывать этих самобытных мастеров слова, Чехов заметил, что публика, как известно, дура и не стоит обращать внимания на смены ее настроений. Надо идти своим путем, не боясь впасть в немилость, не страшась забвения. В этом смысле, сказал он, писательский путь самого Максимова схож с судьбами Писемского и Лескова.

— Такие писатели, как вы, Сергей Васильевич, как Лесков, не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все — евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора, совершенно не понятного для них, и видят в русском человеке ни больше ни меньше как скучного инородца. У петербургской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха Островский, и Гоголь уже не смешит ее...

Верно, верно, кивал Максимов. Сейчас в литературе воцарились пронырливые людишки, которые курят фи-миам каким-то ничтожным сочинителям и в то же время топчут память крупных талантов. Каких только собранных сочинений не встретишь на прилавках магазинов! Айзман, Лазаревский, Мачтет, Тан, Олигер, Шапир. Кто это такие? Что они сделали для познания русской жизни, для пробуждения национального самосознания русского человека?

Он вспоминал Пушкинский праздник 1880 года в Москве, когда весь цвет русской культуры собрался в Первопрестольную на открытие памятника незабвенному певцу свободы и красоты. На открытой эстраде, устроенной на Тверском бульваре, собрался целый иконостас великих — Тургенев, Достоевский, Писемский, Островский, Майков, Аксаков. Рядом с ними сидели светила русского искусства и науки. Меньше двадцати лет назад это было, а ведь тогда

никто не посмел бы навязывать русской публике каких-то баранцевичей на роль духовных вождей.

А Скабичевский? Чехов напомнил, что этот критик и подобные ему тащили на олимп русской культуры мелких литераторов из плеяды «мужиковствующих», в то время как Достоевский объявлялся «жестоким талантом», а Писемского упрекали в том, что он не понимает русского человека и представляет его каким-то немцем.

— А-а, припоминаю, это Семен Венгеров, отпрыск какого-то менялы, решил отчитать Алексея Феофилактовича за непонимание прогрессивной молодежи, а о Гоголе писал как о «не знавшем русской жизни».

— Знакомы и мне такие наставники, — сказал Чехов. — Тот же Скабичевский предрек мне ни больше ни меньше как смерть под забором...

— Да бог бы с ними, с этими критиками, — вздохнул Максимов. — В конце концов, не от них зависит наша литературная судьба, а от читателя... Ах, как хочется верить, что лет этак через полсотни русский юноша откроет твою книгу и... дочитает до конца.

Антон Павлович улыбнулся. После долгой паузы заговорил:

— А мне, знаете, иной раз кажется, что меня после смерти лет десять-двадцать почитают, а потом забудут.

Максимов протестующе поднял руку, но Чехов все с той же добродушной улыбкой продолжал:

— Да-да, ведь все изменится в России. Люди будут другие, проблемы их будут занимать иные... Что нынешним молодым до идеалов шестидесятых годов?

Максимов возразил, что люди меняются не так уж сильно, поэтому каждое новое поколение находит в произведениях своих предшественников нечто близкое себе. Вот его творчество действительно под вопросом. То, что он описал, безвозвратно уходит в прошлое и никогда

не возвратится — может быть, показанные им формы жизни станут вообще непонятны потомкам? Впрочем, дело это праздное — о будущем гадать, давайте к былому вернемся.

После 1 марта 1881 года многое изменилось в России. Большинство министров прежнего правительства ушли в отставку. За несколько лет Александр III беспощадно разгромил террористические группировки, пытавшиеся вызвать в стране паралич власти и политический кризис. Замолчали органы радикальной прессы — «Слово», «Отечественные записки». В литературе волей-неволей воцарился мир — вчерашним противникам приходилось существовать под общей крышей либеральных и консервативных изданий. Неудивительно, что и в бытовом плане произошло сближение многих антагонистов.

Восьмидесятые годы оказались для русской литературы ресторанно-трактирным десятилетием. Пишущая братия, и прежде не избегавшая увеселительных заведений, превратила многие из них в своего рода клубы. Никогда не выпивалось так много, не елось с таким аппетитом, ибо желудочные интересы возвысились в русской жизни над «беспочвенными мечтаниями». Выгодные подряды, манипуляции на бирже, банковские аферы — вот что заполняло первые страницы газет и занимало умы. Умение наживать копейку и широко жить — эти доблести желудочного десятилетия потеснили идеалы тех, кто звал интеллигенцию «искупить долг перед народом». Место хрустальных дворцов, выстроившихся было в воображении демократов, заняла теория малых дел. Малых, зато осязательных. Ну как было в такой атмосфере не потрафить друзьям и знакомым, не предаться гастрономическому экстазу?..

Антон Павлович внимательно слушал рассказы Максимова о литературном быте столицы, о тех совсем недавних

временах, когда за одним столом сживали представители враждебных лагерей — Лесков и Минаев, Салтыков-Щедрин и Суворин. Восьмидесятые годы вся и всех примирили, крайние течения иссякли, воцарилось некое *mezzo termine*, золотая середина, как говаривал Старчевский, бывавший на литературных обедах, устраивавшихся «Новостями».

Эти самые обеды задумывались их организаторами — Нотовичем и Градовским — как средство сближения писателей, сглаживания разногласий между «партиями». Максимов хорошо помнил огромные столы, поставленные «покоем», вокруг которых собирались его друзья: Владимир Осипович Михневич, знаток старого Петербурга, писавший под псевдонимом Коломенский Кандид, Сергей Терпигорев, более известный как Атава, автор книги очерков «Оскудение», посвященной судьбе пореформенного дворянства, Михаил Осипович Микешин, превосходный скульптор и художник, издававший иллюстрированные журналы. Приходили актеры, композиторы, постоянными участниками обедов были историк Костомаров и далекий от искусства Христианович.

Произносились речи, в которых излагались взгляды на общественную жизнь, на современную словесность. В иных спичах прозрачно намекалось на необходимость «увенчать здание» александровских реформ — то есть дать стране конституцию. И это в те годы, когда после убийства императора его наследник, руководимый обер-прокурором синода Победоносцевым, крушил все нововведения покойного отца Александра III — суд, земство, цензурные уставы...

Максимов и его друзья облюбовали Балабинский трактир, находившийся против Публичной библиотеки. Еще при жизни Кожанчикова (он разорился и продал

свой магазин в 1875 году, а в 1877 году умер от апоплексического удара) возникла «Балабаевская обитель», завсегдаи которой устроили некое подобие монастырского братства. Вспоминая давно ушедшие дни, Максимов говорил:

— Почти ежедневно, после занятий в Публичной библиотеке, мы собирались пить чай со сливками в нашей обители, где архимандритом назначен был я, Костомаров носил чин канонарха, Кожанчиков — эконома, все прочие, приходившие к нам на беседу, носили общее имя благодетелей.

Чехов с улыбкой слушал, ему также были знакомы подобные сообщества — в московских ресторациях вроде «Славянского базара», «Яра» и Тестовского трактира пишущий люд часами сиживал в отдельных кабинетах, обсуждая последние новости, перемывая кости знакомым. Кое-кто и газетные репортажи умудрялся сочинять на ресторанных меню.

— В «Малом Ярославце» с начала 1870-х годов собирались деятели умеренной печати, — вспоминал Максимов. — В «Афганистане» — более либеральные во главе с Григорием Градовским. В «Старом Палкине» — артисты Александринки, среди них кум мой, Иван Федорович Горбунов, царствие ему небесное. Аз многогрешный на огонек заходил — послушать, как Дмитрий Дмитриевич Минаев каламбурами сыплет, никого и ничего не щадя...

Прикрыв глаза, писатель представил себе картинку какого-то давнего застолья... Вокруг стола — побавровевшие лица сотрапезников: Михаил Григорьевич Черняев, издатель «Русского мира», генерал, которому еще предстояло прославиться на полях Сербии; Иван Горбунов, подстриженный в скобку; Христианович с остановившимся взглядом, обхвативший голову руками,

словно в припадке тоски-кручины; похожий на дьякона Лесков, постреливающий по сторонам блестящими ядовитыми глазками; Мусоргский, положивший на стол всклокоченную голову, раскидавший набрякшие руки между тарелок.

Из угла поднимается огромная фигура во фраке — оперный бас Владимир Васильев. Рычит:

— Гаспада! А что ежели нам еще разговорцу по двуспальной?..

Разговорцем он называет водку, а двуспальной — рюмку «главного калибра», какой в ходу у замоскворецких купцов.

Христианович вздрагивает и морщится:

— Кабы у тебя не голос-бас, давно бы ты свиной пас.

Но Максимов прерывает его, убежденно говоря:

— Хорошее сказано слово, Владимир Иванович, меткое! «Разговорцу» — это летучее слово, большого оно значения-рассудку требует..

Направляясь к заветному графину, Васильев задевает Мусоргского, тот грузно начинает сползать со стола.

— Не ворошь! — кричит Максимов. — Не ворошь — упадет!

Соединенными усилиями возвращают голову композитора в исходное положение.

Тем временем поднимается Черняев. Ероша бакенбарды, он силится сформулировать какую-то мысль, наконец с запинкой изрекает:

— Милостивые государи, не угодно ли черняевской освежиться?

Все знают, что в буфете всегда имеется изобретенная генералом настойка. Даже такой могучий истребитель зеленого змия, как Писемский, сказал, попробовав ее: «Зверь водка!»

— Нет, и нет, и нет, драгоценнейший коллега, — вскидывается Горбунов. Надув щеки, медленно, по-стариковски выползает из-за стола.

Начинается очередное представление — выживший из ума «генерал Дитятин» произносит тост.. Хохот, крики, голова Мусоргского поднимается над тарелками, мутные глаза смятенно ищут источник беспокойства.

После импровизированного выступления Горбунова приходит очередь «соборному действу». Со стола сдергивается скатерть, в нее заворачивают долговязого Максимова и кладут на диван. Сотрапезники выстраиваются полукругом и поют церковные стихиры на погребение Христа. Поят «Спасителя» из судна уксусом, посыпают главы сигарным пеплом и, подхватив спеленутого, «погребают» возле кадки с пальмой.

Затем следует заключительный номер программы. Половой вносит деревянный жбан с пивом, другой несет противень раскаленных ржаных сухарей — прямо из русской печи. Высыпав их в хмельной напиток, радостными криками приветствуют рассерженное шипение жбана, сдувают огромную шапку поднявшейся пены и припадают к пойлу. Это изобретенное Горбуновым «лампопо», слава о нем идет широко, пьют его не только в Питере, но и у Тестова на Москве подают..

Антон Павлович со смехом кивает. Он тоже пробовал подобное варево. Правда, за два десятка лет рецепт усложнился. Теперь в пиво валят пряности, травы. Это уже декаданс...

— Ну, в наше время тоже знали толк в кулинарных изысках, — отвечает Максимов и показывает Чехову отпечатанный в типографии листок с затейливыми виньетками «Роспись столовому кушанию», сочиненную Горбуновым для юбилейного обеда 20 ноября 1888 года,

когда друзья чествовали тридцатипятилетие литературной деятельности Максимова.

Чехов вслух зачитывает меню:

«В навечерии в шестом часу.

Коврыга монастырская.

Хлебцы немецкие, калачи хомутинные.

Сельди соловецкие, икра астраханская.

Телеса ершовые в студне.

Звено белуги ставное, свежее.

Пироги длинные, на московское дело.

Уха стерляжья, из живых.

Коза дикая.

Артышока заморская, гретая.

Гусь лапчатый, московский, чиненый.

Яндива кудрявая с чесноком.

Кашка сладкая боярина Гурьева.

Водка белая, да померанцевая, да рябиновая, да анисовая, да сухарная, да мятная, да калуферная, да бонбарисовая.

Вина фряжские.

А подаст к столу фрязин Понсе с товарищи, а служить в столе будут татары крымские да касимовские».

— Каково? — лукаво щурится Максимов. — Ах, видали бы вы этот зал в ресторане Понсе. Пожалуй, в последний раз собралось вместе так много прекрасных, светлых людей... Почти никого уже нет из них... И мне пора...

Иван Горбунов. Николай Лесков. Алексей Потехин. Сергей Терпигорев. Владимир Михневич. Михаил Микешин. За несколько лет он похоронил их всех... Кто еще был на юбилее?.. Артист Писарев... Несравненная Савина, Марья Гавриловна, «молодая королевнушка»,



как звал ее Максимов... Василий Иванович Немирович-Данченко, плодовитейший беллетрист, неутомимый путешественник... Алексей Сергеевич Суворин, остроумный публицист, драматург, удачливый издатель... Константин Константинович Случевский, тонкий поэт, крупный государственный служащий, главный редактор «Правительственного вестника».

Первый тост за государя встретили криками «ура!». Оркестр грянул государственный гимн. По предложению Потехина тут же составили и отправили благодарственную телеграмму великому князю Константину Николаевичу, как-никак начало литературной деятельности юбиляра прошло под его патронажем. Этот жест почтенного собрания был всеми расценен как демонстрация либерализма и даже оппозиционности — ушедший от дел дядя нынешнего монарха символизировал те порядки, которые были сданы в архив после 1 марта 1881 года...

Потом началась церемония вручения подарков. Серебряный самовар, шкатулки, вазы... Портрет юбиляра, писанный художником Судьбинским, до сих пор украшает кабинет Максимова, а туфли, собственноручно вышитые Терпигоревым, стоят на этажерке рядом с портретом умершего друга и кума.

Но, что ни говори, а все эти воспоминания неизменно сбиваются на похоронный тон; какой праздник, какое собрание ни придет на ум — обязательно половина его участников теперь числятся в синодике памяти...

Самое страшное, самое тяжелое было для него связано с 30 ноября. В 1887 году в этот день скончалась Ольга Ивановна, Оленька. Жену он любил до обожания, мог любоваться ею часами — как она величаво и изящно движется по гостиной, как говорит с детьми, мягко улыбаясь, внимательно и нежно глядя в глаза... Красавица она была, редкостная красавица. Это не только он так

считал, все друзья и знакомые говорили: ты выиграл главный приз в жизненной лотерее, у тебя чудная жена и отличные дети...

Да, детьми он имеет основание гордиться. Первенец, Иван — высокий, как отец, с мужественным подбородком, с задумчивыми серыми глазами. Служит в Департаменте железных дорог, далеко пойдет — начальство ценит его ясный ум, деловую хватку. Женится по любви на Танечке Горбуновой — оба отца радовались за детей, отличная пара. С детских лет они души один в другом не чаяли, и вот теперь крепкая, счастливая семья. Единственное, чем Иван недоволен: Таня не хочет сцену бросить. Максимов-старший и сам считает, что в Александринке она смотрится весьма скромно, славы отца ей никогда не достигнуть, можно бы и посвятить себя целиком семье...

Саша, невысокий блондин с тонкими чертами лица — мамино наследство, — пока холостяк, отец поддерживает его в убеждении, что спешить с женитьбой не стоит, надо как следует опереться. Он в Азиатском департаменте начал службу, в девяносто седьмом выехал в русскую миссию в Сеуле. Корея — перспективное место, сейчас на Дальнем Востоке завязываются узлы большой политики, разгорается борьба между великими державами за преобладание в Китае...

Георгий, Гуля — младший сын — закончил Морской кадетский корпус, поступил на службу в Сибирский экипаж, был мичманом на транспорте «Якут», а в конце девяносто седьмого получил назначение на миноносец «Сунгари», приписанный к Владивостокскому отряду. Максимов-старший часто смотрел на его фотопортрет в черной форме и фуражке с крабом. Потрясающий мужчина, ему бы где-нибудь в анфиладах Зимнего дворца кортиком звенеть, в придворном свете блистать — нет,

сам напросился на Восток, туда, где заваривается добрая каша...

В апреле девятисотого вышла замуж дочь Леночка. Отец был доволен партией: Александр Васильевич Дарган, поручик 26-го драгунского Бугского полка, отличался серьезностью, пронизательным умом — такие люди делают карьеру в армии. Часть боевая, бывавшая во многих делах, если произойдет что-то на границе, ее в числе первых двинут на фронт. Александр знал это, когда шел на службу, хотя по ходатайству родича-генерала мог бы и в гвардию определиться. Это по-нашему, говаривал Максимов знакомым, это по-человецки — не искать легкую дорожку...

Солнце садилось в фиолетовые тучи, несколькими слоями распластавшиеся над горизонтом. Малиновый полукруг то и дело дробили стволы рощ, пролетающих за окном вагона. Бесконечные тени исполосовали развороченную плугами землю. Огромные стаи птиц носились над полями, словно пепел догорающего дня.

Закат в тучах — значит будет непогода. Может, ветер налетит, принесет снег, и вернется зима. Или придут из-за горизонта тяжелые рыхлые облака и уронят на землю огонь и дождь; теплая вода закипит в бороздах, и напленные ею зерна выкинут зеленые лезвия молодой ржи... Когда он смотрит на закат, ему видятся чаще всего зима, остывшая, заснувшая земля. Когда он смотрит на закат, то думает о смерти.

Жизнь уходит. Совсем ослабели глаза. Сквозь дряблую пергаментную кожу рук синеют старческие вены. Ни одного русого волоса не осталось на голове и в бороде, даже брови и те поседели. Теперь, после операции, он и говорить толком не сможет...

Поехав по совету врачей в Крым, Максимов заехал к брату в Варшаву. Здесь здоровье его неожиданно пошатну-

лось. Василий пригласил виднейших своих коллег на консилиум и, обсудив с ними состояние больного, решил на операцию трахеотомии. Хирургом он был прекрасным, и все прошло превосходно. Сергей Васильевич пошел на поправку. Правда, о поездке на юг теперь не могло быть и речи. Но Василий Васильевич внял усиленным просьбам писателя и, едва здоровье брата перестало внушать опасения, посадил его в скорый поезд до Петербурга...

Завтра он будет дома, среди своих. Встречать придут Ванечка и Танюша, Леночка с мужем. После обеда выйдет из дома, пройдет по Сергиевской, потом кликнет извозчика и поедет на кладбище, посидит у Оленьки, у брата Николая, Царствие им Небесное... Опять эти кладбищенские мысли, никак от них не отвертишься. И виной тому — зловещий закат.

Край солнца полыхает над окровавленными лучами, черные птицы медленно плывут в багровом небе, как хлопья сажки. Догорел день. Догорел твой век.

Так думал он уже не раз, бродя по промозглым лесам под Парфентьевом. Сосед по имению, крупный путейский инженер Александр Николаевич Макаров (он, кстати, построил Петербургско-Варшавскую дорогу, по которой теперь несет его курьерский поезд), был постоянным спутником его прогулок. Много говорили об уходящем веке — тогда эта тема была постоянной на страницах газет и журналов, публицисты подводили итоги XIX столетия, делали предсказания о грядущем.

Максимов не хотел пророчествовать. Куда больше занимали писателя итоги века, ибо это были итоги его века, его жизни. В двадцатом столетии ему не суждено жить долго, он ясно сознавал это, может быть, оттого постоянно спорил с Макаровым, убежденно говорившим о превосходстве грядущей эпохи. От нее он ждал чудес, перед которыми поблекнут достижения века девятнадцатого.

А писатель сомневался в этом. Разве можно превзойти те культурные ценности, которые создала Россия на его памяти? Ровно пятьдесят лет назад он приехал в патриархальную Москву из заштатного посада — и ему казалось, что древняя столица с ее единственным журналом и двумя театрами прямо-таки бурлит умственной жизнью. Два-три десятка литераторов в Печкинской кофейне выделялись избранниками небес, а Гоголь, обитавший у графа Толстого, казался живым Гомером, не зря они с друзьями-студентами, затаив дух, издали наблюдали, как он гуляет по бульвару.

Писемский в тот год напечатал свою первую повесть, Островский был автором единственной пьесы. Еще не знали ни Толстого, ни Тютчева, Достоевский, опубликовавший маленькое сочинение «Бедные люди», томился на каторге, никто и подумать не мог, что к его слову через несколько десятилетий будет прислушиваться весь мир.

Не было Чайковского, Бородина, Мусоргского, Балакирева. Россия не знала Крамского и Перова. Не пришел еще час великих ученых и мудрецов.

И Максимов увидел рождение всего этого. Он пожимал руку Чернышевскому, Добролюбову, он беседовал с Данилевским и Страховым, он знал декабристов, он был другом Островского и Курочкина, Писемского и Михайлова.

Максимов видел толпы студентов в клетчатых пледах, поющие «Вечную память» по тем, кто навсегда остался в рудниках и острогах, он видел окровавленную брусчатку, на которую упал император.

Многие из тех, кого он знал, стали бронзой. Поднялся памятник Муравьеву-Амурскому в Хабаровске. Скоро на московском бульваре соорудят по подписке памятник Гоголю. Будут, Максимов убежден в этом, монументы в честь Островского и Чернышевского, декабристов и Достоевского...

Макаров обнял его за плечи, с просительной улыбкой сказал: будет, будет, Сергей Васильевич, положили на лопатки. Такое созвездие имен... Трудно вообразить, что возможно повторение подобного «урожая». Как во времена классической Греции — тогда тоже за каких-то полвека после персидских войн родились вся великая литература и историография, скульптура и философия. На тысячелетия хватило человечеству тех духовных сокровищ, которые произвел маленький народ за несколько десятилетий...

Однако Максимов еще не выговорился. Величие русской культуры бесспорно. Но вспомните, что такое была Россия в пятидесятом году. Только через год открыли Николаевскую железную дорогу между двумя столицами. А скоро вы за двенадцать суток сможете долететь по рельсам от Петербурга до Владивостока... Смешные приземистые пароходы с огромными гребными колесами казались в середине века чудом техники, а ныне стальные дредноуты под Андреевским флагом бороздят волны океанов, наводят жерла 12-дюймовых орудий на вражеские берега. Русское знамя развевается над крепостями, до которых в пятидесятом было месяц пути по пустыням и горам. Над Крышей Мира взвился золотой штандарт с двуглавым орлом.

Там, где лежали безлюдные степи, сегодня дымат трубы гигантских металлургических заводов, черными пирамидами терриконов обставились шахты. Донбасс скопил миллионы народу, пришли в движение ближние и дальние губернии, мужик оторвался от земли, взял в руки заступ горняка и инструмент фабричного рабочего. Лес закопченных вышек поднялся на Апшероне, там, где недавно чадили лишь площадки храма огнепоклонников, полыхают тысячи газовых факелов. Баку победил в мировой схватке керосиновых магнатов, монополии Рокфеллера пришел

конец, когда русские промышленные короли пробились к подземным озерам нефти...

Солнце скрылось, но сквозь тучи еще пробивается кровавое мерцание, словно под пеплом рдеют угли. Небо на западе приобрело цвет старого бургундского, яркая звезда прорезала бордовую завесу. На черных пашнях лежат седые пряди тумана, призрачные рощи уносятся назад, в синюю ночь.

Девятисотый год, последний год прошедшего века... 1 декабря Максимов получил телеграмму об избрании его почетным академиком Разряда изящной словесности — в числе первых русских писателей. Это событие вызвало такой прилив сил, такое желание работать, какого у него давно уже не было. Он продолжает жить в отечественной словесности, имя его по-прежнему в первом ряду!

И в самом деле, думал он в те дни, я выпустил больше дюжины книг, которые вместе составят настоящую энциклопедию русского быта... «Лесная глушь» — о колдунах, об извозчиках, о знахарках, о швецах и питерщиках. «Год на Севере» — до сих пор нет книги, с такой же полнотой описывающей «образ жития» этого края. «На Востоке», «Сибирь и каторга», «Край крещеного света», очерки Волги, Кавказа и Урала, рассказы о Белоруссии — смело можно брать их как этнографический путеводитель по этим местностям. «Куль хлеба и его похождения» — полный свод сведений о земледельческой культуре русского народа. «Бродячая Русь Христа ради» — небывалое собрание типов странников и мошенников. Пегом было еще сочинение, больше других любезное его сердцу, — «Крылатые слова»; здесь он собрал трофеи своей сорокалетней охоты за словом, объяснил выражения, которые от давнего и частого употребления настолько стерлись, что никто уже не помнит их первоначального смысла.

Теперь-то, после его книги, не скажешь, что речения «Бить баклуши» или «Где раки зимуют» — темные, ничего не значащие словосочетания; толкования Максимова приняли, они стали общепризнанными. Подобного сочинения в России еще не бывало, после его выхода и само понятие «крылатые слова» быстро привилось, стало общеупотребительным.

Последняя его книга — это тоже своего рода энциклопедия. «Нечистая, неведомая и крестная сила» — все виды суеверий и обрядов, дошедших из времен славянского язычества, сохранившихся в быту русской деревни. Вера в магическое значение заговоров, в жизненную силу природных стихий — воды, огня, земли, — она по сей день составляет основу мировоззрения крестьянина.

Свою последнюю книгу он написал по предложению князя Н.Н. Тенишева, на свои средства создавшего Этнографическое бюро для сбора сведений о всех сторонах жизни русского народа. Меценат задумал выпустить многотомное исследование духовного мира и материального быта всех сословий, но прежде всего деревни. Богатейший материал, собранный корреспондентами бюро, помог Максиму дополнить свои познания о языческой старине, уцелевшей в крестьянском быту. «Нечистая, неведомая и крестная сила» стала как бы завершающим звеном в ряду работ писателя, посвященных старообрядчеству и сектантству, она увенчала ту картину русской народной культуры, которую Максимов создавал всю жизнь.

Пожалуй, избрать в Академию наук его могли бы не только за литературные достоинства изданных им сочинений. Ученые постоянно обращаются к «Году на Севере», к «Нечистой силе...», ссылки на «Сибирь и каторгу», на «Крылатые слова» встретишь у языковедов, у географов. В «Истории русской этнографии», солидном обобщаю-



щем труде академика Пыпина, творчеству Максимова посвящено несколько страниц, причем автор подчеркивал именно научную ценность его книг. Не раз открывал писатель объемистый том «Истории...» и читал: «Эти очерки из народного быта отличались от тех, каких являлось с тех пор и доньше бесконечное множество, очерков, рассчитанных на чисто литературный интерес, на мимолетную картинку, не имеющую этнографического значения; в этом последнем отношении рассказы г. Максимова ближе подходили к подобным очеркам Даля, но и здесь была та осязаемая разница, что в то время, как у Даля при всем его народолюбии картинка из народного быта все-таки рисовалась свысока, как нечто не столько любопытное или важное, сколько курьезное, иной раз с оценкой народного смысла, а другой раз с великим пренебрежением к народной глупости, которую надо без церемонии учить вразумительными для нее способами, — у г. Максимова господствует иное настроение, а именно — желание понять быт как он есть, с создававшими его условиями, понять равноправно и человечно, иной раз, как бывало у позднейших народников, с особенным ударением на мудрости и мудрености народного быта, которых нелегко уразуметь ненародному человеку; наконец, в описаниях бывала такая точность, что рассказы приобретали и значение этнографическое».

Цитировали Пыпина и в тот день, когда шло обсуждение кандидатур в почетные академики, причем особенно горячо говорили в поддержку Максимова именно этнографы и филологи — Ламанский, Шахматов. Когда писателю пересказали ход этой дискуссии, он невольно вспомнил свой разговор с Чеховым о будущей судьбе их книг. Сохранит ли свою научную ценность то, что написано Максимовым, ведь народоведение бурно развивается, исследования ученых

открывают все новые стороны духовной жизни нации и очень многое из того, что писалось о быте и обрядах народа пятьдесят-шестьдесят лет назад, отдает наивностью. Терещенко, Сахаров, Снегирев — для своего времени они сделали очень много, но сегодня их почти не читают, да и этнографы к их книгам не испытывают большого доверия...

Нет, и о научном значении своей деятельности он говорить не стал бы. Пусть рассудит потомство. Так в чем же итог его жизни? Достиг ли он того, к чему стремился в молодые годы? Таким ли виделось будущее, когда летом 1850 года он миновал Рогожскую заставу Москвы, приехав поступать в университет?

Писатель вспомнил о недавнем письме литературоведа П.П. Полевого, в котором содержалась просьба коротко рассказать о своей жизни и творчестве. Он долго раздумывал над ответом. Писать о том, что вышел в отставку в чине действительного статского советника? Что стал академиком? Что издания его книг занимают целый шкаф? Все это есть, все это было, но разве об этом вспомнят, говоря о нем после его смерти?.. Почему-то припомнилось, как они шли с Павлом Якушкиным по пыльной дороге среди голых осенних полей, вслушиваясь в долетающую откуда-то песню... Вот это и было главным — дорога, песня, бесконечная даль.

Он обмакнул перо в чернила и продолжал писать: «...странствовал долго, забирался далеко, видел многое и написал много. Когда нужда указала на литературный заработок — в деревню я унес свою любознательность, изучая беспомощную нищету, которая с малых лет и меня самого ласкала и любила. Любовь помогла разобраться и убедиться воочию в том, что под деревенскими лохмотьями бьется горячее сердце, что разбросанный и неприбранный хлам есть не что иное, как вчерашние

следы неустанной борьбы на жизнь и смерть с суровой природой, что эта борьба руководится практическим изобретательным умом, направляется богатырскими силами, могучим народным гением. В поисках за этими очевидными следами и в посильном подборе точных доказательств я с наслаждением увлекся на все эти изжитые литературные годы».

Когда-то, в молодости, странствуя по Северу, он спрашивал себя: что есть национальный идеал, что такое душа народа? Не так давно молодые люди, студенты университета, задали ему те же вопросы, и он на какое-то время задумался: есть ли у него готовый и краткий ответ? Потом медленно заговорил, взвешивая каждое слово:

— Если бы я знал это, то давно перестал бы писать... Но после каждой новой книги я говорил себе: нет, еще не все изведано, еще многие стороны жизни не познаны... Чем больше я узнавал, тем яснее понимал: чтобы разрешить такие вопросы, нужно прожить жизнь. Что есть душа народа? Теперь я могу вам ответить, но тогда мне придется пересказать все мои книги. Их много, но если вас действительно занимает этот вопрос, вы прочтете их. Кратких же ответов я не знаю...

Погас последний уголек в тучах, небо чуть сереет на западе, через несколько мгновений ночь воцарится над миром. Холодная ночь перед ненастьем. Какой-то будет эта первая весна двадцатого века?

\* \* \*

В середине 1860-х годов Ф.М. Достоевский писал в своем дневнике: «Идея национальностей есть новая форма демократии». Эта мысль могла бы стать своего рода творческим кредо для таких писателей, как Максимов. Они способствовали своими книгами пробуждению широкого общественного интереса к духовной жизни

крестьянства. Демократические идеалы Максимова делают его творчество близким и понятным современному читателю.

Сегодня внимание к сочинениям Максимова во многом определяется и тем, что его произведения представляют собой свидетельства очевидца. Это документы времени, в прямом и точном значении слова. Но вот что любопытно — современники высоко оценивали книги писателя именно за точность, достоверность. А в ту пору гораздо труднее было понять специфические достоинства его прозы как мемуара, как слепка нравов и быта эпохи. Да к тому же существовала масса писателей-бытовиков, народоописателей, забиравшихся в самые глухие углы. Особое достоинство сочинений Максимова, обеспечившее их прижизненное признание, — ярко выраженное личностное начало. Для писателя не существовали обряд сам по себе, оборот речи или костюм. Даже говоря о фасоне шляпы, он говорил прежде всего о человеке.

Произведения писателя пережили его эпоху, ибо принадлежат к русской литературе во всем высоком значении этого понятия. А она сохранила свою притягательность для всякого поколения прежде всего потому, что, говоря о проблемах своей эпохи, высказала о человеке, о России такие истины, которые оказались надвременными. Нравственный облик героев классических произведений близок и понятен нам, несмотря на все испытания и социальные перемены, произошедшие за последнее столетие.

А размышления Максимова о строе жизни народа, о тех демократических началах, которые регулировали национальную жизнь на протяжении веков, — все это не менее злободневно сегодня. Историки — отечественные и зарубежные — продолжают спорить о происхождении

политических систем в России, об иноземных влияниях, и в дебатах этих каждая сторона старается подыскать аргументы в пользу собственной концепции. Те, кто считает авторитарный, тоталитарный характер русских политических институтов изначально присущим нам, выводит их из черт русского характера, из традиционных форм быта — и в этом отношении общинный уклад преподносится как модель антидемократического мироустройства, в котором интересы личности приносятся в жертву общественным интересам. Другие, напротив, видят в общинном устройстве, в обычае мирского обсуждения вопросов общественной жизни совсем иные начала. Споры эти восходят еще ко временам декабристов и литературных кружков 1840-х годов. Нет народа, которому не было бы присуще стремление к свободе, нет человека, у которого отсутствовало бы чувство собственного достоинства, — так всегда говорили сторонники демократизации русской жизни.

В современной идеологической борьбе расхожими сделались термины «демократия», «деспотизм», «человеческие права», и в этом контексте сочинения Максимова помогают уяснить, что вкладывалось в эти понятия русскими людьми, как осмыслялись они в истории, каковы национальные оттенки их восприятия. В системе духовных ценностей русского человека они всегда были на первом месте. Воля — не стремление ли к ней порождало массовый исход на окраины государства, где жилось тяжело, но без казенной опеки?.. Не внутренняя ли свобода, не духовная ли раскрепощенность позволяли русскому человеку преодолеть жесткие рамки религиозных догматов и явить миру — пусть в форме бесчисленных заблуждений — безоглядный размах религиозного творчества? Что, как не верность собственным принципам, как не уважение к собственному достоинству, заставляло всходить на костры по-

следователей протопопа Аввакума? Нет, не было стадности, покорности в русском народе, и хотя ему не раз пытались втемяшить, что «порядок» есть наивысшая ценность, в нем по-прежнему жила мечта о свободе, о жизни без надзирателя и соглядатая.

Читая Максимова, проникаешься убеждением, что именно эта оптимистическая вера позволяла русскому человеку ощущать себя хозяином на своей земле, порожидала самоуважение.

Максимов был добросовестным свидетелем своей эпохи, именно поэтому его книги получили при его жизни признание со стороны ученых-этнографов, которые всегда ценили беспристрастность исследователя.

Мы воспринимаем произведения Максимова как памятник ушедшей культуры. Но они заставляют нас сравнивать, оценивать настоящее «с точки зрения вечности». Поэтому книги писателя принадлежат и нашему времени.

## СОДЕРЖАНИЕ

«Очарованный странник» русской литературы .....	3
Время разбрасывать камни? .....	8
По рекрутской части .....	31
Год на Севере .....	55
Ходебшики .....	90
На краю света .....	127
Нетерпеливцы и постепеновцы.....	184
Общественная польза .....	226
Закат .....	263

Литературно-художественное издание

**Плеханов** Сергей Николаевич

**ОХОТА ЗА СЛОВОМ**

Выпускающий редактор *В.Н. Ильин*

Корректор *С.В. Цыганова*

Художественное оформление *М.Г. Хабибулло*

Верстка *Н.В. Гришина*

ООО «Издательский дом «Вече»

Почтовый адрес:

129348, Москва, ул. Красной Сосны, д. 24, а/я 63.

Фактический адрес:

127549, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корпус 1.

E-mail: [veche@veche.ru](mailto:veche@veche.ru)

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 25.07.2011. Формат 84 × 108 1/32.  
Гарнитура «NewtonС». Печать офсетная. Бумага офсетная.

Печ. л. 9. Тираж 2000 экз. Заказ .